



# Федор Достоевский



ГЛАВНЫЕ КНИГИ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

## Бесы

*Достоевский начинает писать «Бесы» как злой антিনিгилистический памфлет, но вырывается за рамки жанра и создает один из своих лучших романов — политический триллер, сатирический боевик, религиозную драму и экзистенциальную трагедию под одной обложкой.*

альпина  
**ПРОЗА**

ПОЛКА

Главные книги русской литературы (Альпина)

Федор Достоевский  
**Бесы**

«Альпина Диджитал»

1872

УДК 821.161.1  
ББК 84(2=411.2)

**Достоевский Ф. М.**

Бесы / Ф. М. Достоевский — «Альпина Диджитал»,  
1872 — (Главные книги русской литературы (Альпина))

ISBN 978-5-96-149140-1

Достоевский начинает писать «Бесы» как злой антинигилистический памфлет, но вырывается за рамки жанра и создает один из своих лучших романов – политический триллер, сатирический боевик, религиозную драму и экзистенциальную трагедию под одной обложкой. О серии «Главные книги русской литературы» – совместная серия издательства «Альпина. Проза» и интернет-проекта «Полка». Произведения, которые в ней выходят, выбраны современными писателями, критиками, литературоведами, преподавателями. Это и попытка определить, как выглядит сегодня русский литературный канон, и новый взгляд на известные произведения: каждую книгу сопровождает подробная статья авторов «Полки». Для кого Для всех любителей классической русской литературы и для старших школьников.

УДК 821.161.1  
ББК 84(2=411.2)

ISBN 978-5-96-149140-1

© Достоевский Ф. М., 1872  
© Альпина Диджитал, 1872

# Содержание

Предисловие «Полки»	9
Бесы	27
Часть первая	29
Глава первая	30
Глава вторая	48
Конец ознакомительного фрагмента.	56
Комментарии	

# Федор Достоевский

## Бесы

*Текст печатается по изданию: Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений: В 30 т. Т. 10, 11. – Л.: АН СССР, Институт русской литературы (Пушкинский дом), 1974.*

Главный редактор С. Турко  
Руководитель проекта Л. Разживайкина  
Корректоры Е. Аксенова, М. Смирнова  
Компьютерная верстка М. Поташкин  
Художественное оформление и макет Ю. Буга

*Все права защищены. Данная электронная книга предназначена исключительно для частного использования в личных (некоммерческих) целях. Электронная книга, ее части, фрагменты и элементы, включая текст, изображения и иное, не подлежат копированию и любому другому использованию без разрешения правообладателя. В частности, запрещено такое использование, в результате которого электронная книга, ее часть, фрагмент или элемент станут доступными ограниченному или неопределенному кругу лиц, в том числе посредством сети интернет, независимо от того, будет предоставляться доступ за плату или безвозмездно.*

*Копирование, воспроизведение и иное использование электронной книги, ее частей, фрагментов и элементов, выходящее за пределы частного использования в личных (некоммерческих) целях, без согласия правообладателя является незаконным и влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность.*

© Макеенко Е., предисловие, 2022  
© ООО «Альпина Пабlishер», 2024

\* \* \*

Федор Достоевский

# Бесы

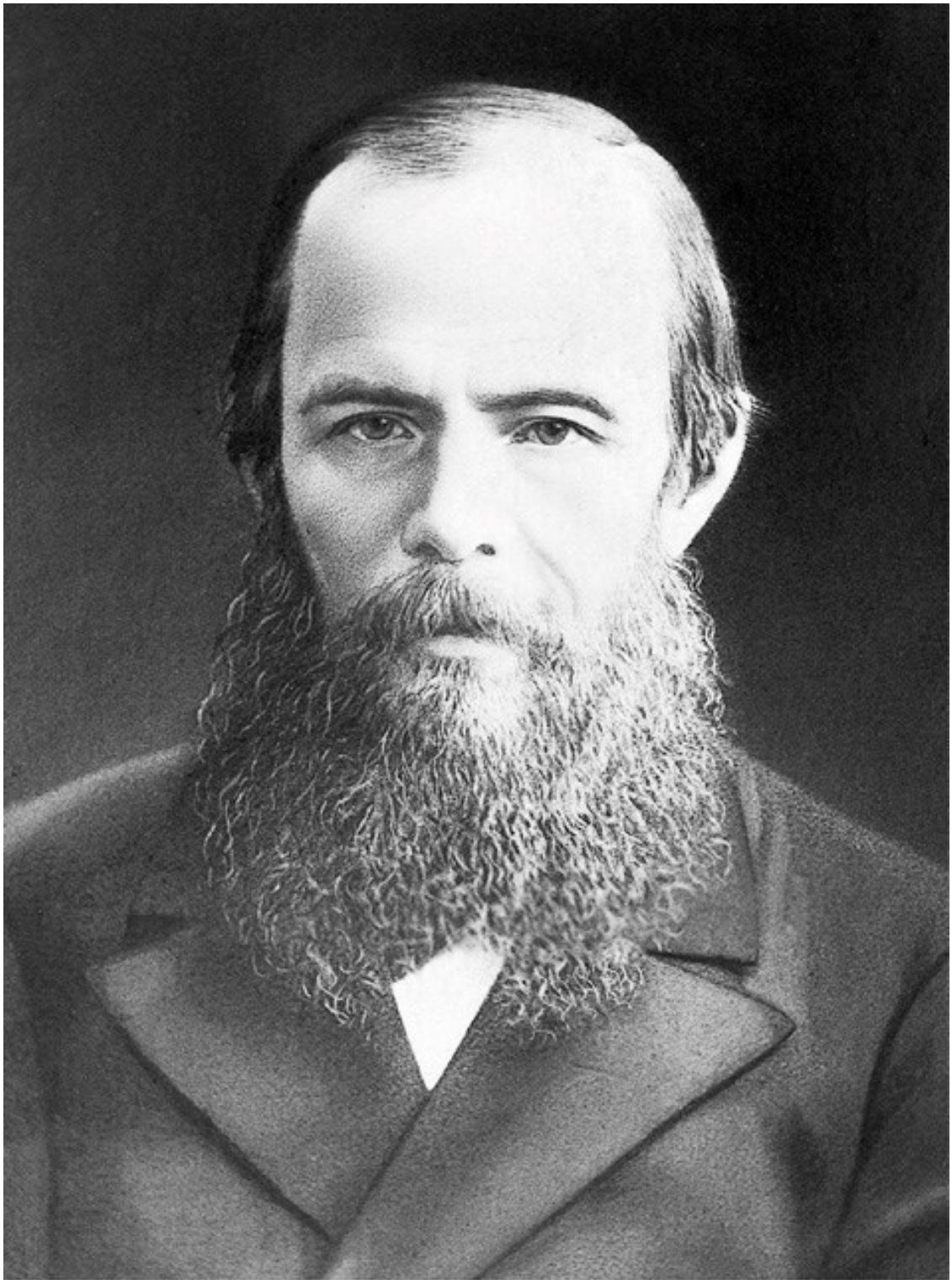
*Роман в трех частях*

ПОЛКА

альпина  
**ПРОЗА**

*Москва, 2024*





Федор Достоевский. Фотография Константина Шапиро. 1879 год<sup>1</sup>

р

---

<sup>1</sup> Федор Достоевский. 1879 год. Фотография Константина Шапиро. Российская государственная библиотека.

## Предисловие «Полки»

*Достоевский начинает писать «Бесы» как злой антинигилистический памфлет, но вырывается за рамки жанра и создает один из своих лучших романов – политический триллер, сатирический боевик, религиозную драму и экзистенциальную трагедию под одной обложкой.*

*Елена Макеенко*



## О ЧЕМ ЭТА КНИГА?

В губернский город одновременно возвращаются из-за границы демонический красавец Николай Ставрогин и сын домашнего учителя Петруша Верховенский. После их приезда начинают происходить странные вещи: скандалы, пожары, убийства. Плетутся политические интриги, расползаются слухи, у каждого жителя в шкафу обнаруживается скелет. За месяц тихий город превращается в адскую воронку, большинство действующих лиц гибнет, сходит с ума или сбегает. Достоевский задумывает антинигилистический памфлет, а пишет мрачную и захватывающую трагедию мира, потерявшего гармонию и смысл.

## КОГДА ОНА НАПИСАНА?

Замысел начал складываться у Достоевского в 1869 году. В это время писатель находится за границей, скрываясь от кредиторов, тоскует по родине и прочитывает по несколько русских газет в день. В это же время в России активизируется студенческое движение, волнения происходят в Московском университете. Обеспокоенный Достоевский приглашает младшего брата своей жены, студента Петровской сельскохозяйственной академии в Москве Ивана Сниткина, погостить у них в Дрездене. По воспоминаниям Анны Григорьевны Достоевской, Сниткин много рассказывает о быте и настроениях студенческого мира, в том числе о студенте Иванове. Через полтора месяца Иванова убьют бывшие единомышленники по революционной организации «Народная расправа» во главе с Сергеем Нечаевым. Убийство студента производит на Достоевского сильное впечатление. У писателя зреет замысел написать памфлет против нигилистов и западников, в начале 1870 года он [рассказывает](#)<sup>[1]</sup> об этой идее в письмах Аполлону Майкову и Николаю Страхову: «То, что пишу, – вещь тенденциозная, хочется высказаться погорячее. (Вот завопят-то про меня нигилисты и западники, что ретроград!) Да черт с ними, а я до последнего слова выскажусь». Постепенно «памфлет» разрастается, усложняется и превращается в большой роман, над которым писатель работает почти три года.

## КАК ОНА НАПИСАНА?

Роман представляет собой хронику, которую ведет молодой человек, свидетель и отчасти участник событий, Антон Лаврентьевич Г-в (в литературоведении его часто называют Хроникером). Рассказчик старается подробно и объективно фиксировать события, которые происходили в городе в сентябре–октябре одного года, но по мере вовлечения объективность ему изменяет, а отдельные эпизоды приходится домысливать. Для объяснения происшедшего Хроникер погружается в биографии героев за предыдущие двадцать лет и дополняет повествование фактами, которые были обнаружены уже после развязки. Отступления назад и забегающие вперед создают впечатление, будто в романе много лакун и нестыковок, однако, как доказала<sup>[2]</sup> исследовательница Достоевского Людмила Сараскина, мир «Бесов» проработан до минуты и требует от читателя всего лишь быть очень внимательным. Единственная настоящая лакуна находится между восьмой и девятой главами: в этом месте, в самом центре романа, должна находиться глава «У Тихона», которую по цензурным соображениям отказался публиковать издатель «Русского вестника» Катков. В современных изданиях изъятая глава публикуется в виде приложения, в ней Николай Ставрогин исповедуется и фактически объясняет свое будущее самоубийство.



Миллионная улица в Твери. 1860 год. Тверь была прототипом губернского города в «Бесах»<sup>2</sup>

с

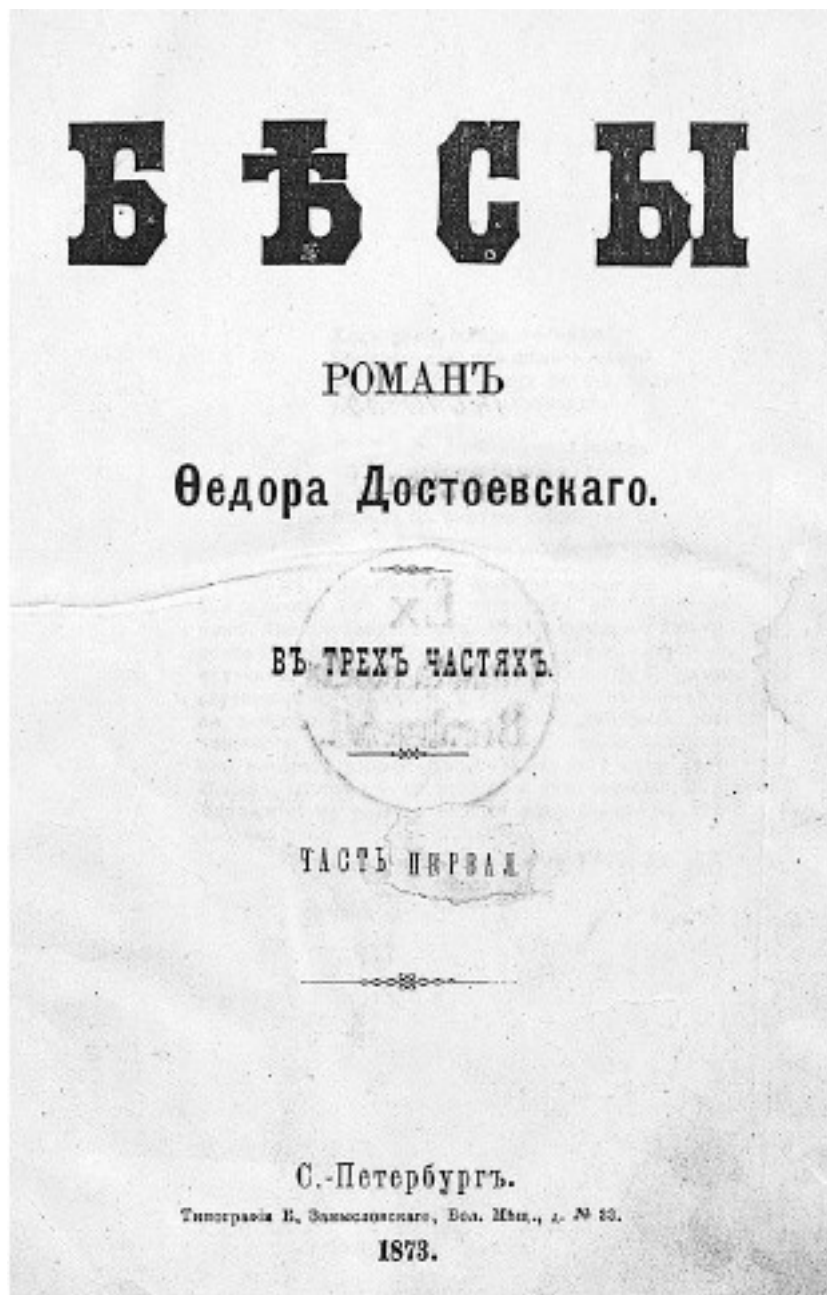
### ЧТО НА НЕЕ ПОВЛИЯЛО?

Феномен нарастающего политического радикализма и популярные в России 1840–60-х политические идеи, кружки и соответствующие дискурсы: социалистический, либеральный, почвеннический. Важный литературный источник – традиция антинигилистических романов, которую Достоевский трансформировал и развил, во-первых, представив в своем романе сложную «палитру» нигилистов (одновременно с «Бесами» в «Русском вестнике» выходил роман Лескова «На ножах», который Достоевский раскритиковал в переписке с Майковым: «Много вранья, много черт знает чего, точно на луне происходит»), во-вторых, отменив обязательное для романов такого типа противопоставление нигилистам государственной власти, которая в «Бесах» выглядит ничуть не лучше своих врагов. Особняком здесь стоят «Отцы и дети» Тургенева: от них Достоевский отталкивался в начале работы над романом, разрабатывая линию отца и сына Верховенских как основную, хотя позже эта литературная связь почти исчезла. Мир губернского города из «Бесов» напоминает мир гоголевских «Ревизора» и «Мертвых душ», а также только что вышедшей «Истории одного города» Салтыкова-Щедрина («Город наш третировали они как какой-нибудь город Глупов», – рассказывает Хроникер о публике из кружка губернаторши. Известно, что прототипом губернского города в «Бесах» была Тверь, где Достоевский жил после ссылки в 1859 году, а Салтыков-Щедрин служил вице-губернатором в 1860–1862 годах). Несомненно, повлияли на роман и «Повести Белкина»: Иван Петрович Белкин – ближайший литературный родственник Хроникера.

<sup>2</sup> Миллионная улица в Твери. 1860 год. Из открытых источников.

## КАК ОНА БЫЛА ОПУБЛИКОВАНА?

Роман публиковался в «Русском вестнике» в течение 1871–1872 годов с большим перерывом, который возник из-за борьбы Достоевского с издателем Михаилом Катковым и редактором Николаем Любимовым за главу «У Тихона». В 1873-м «Бесы» вышли отдельным изданием. «У Тихона» была опубликована в качестве приложения к роману только в 1926 году.



Обложка первого книжного издания «Бесов». 1873 год<sup>3</sup>

↵

---

<sup>3</sup> Обложка первого книжного издания «Бесов». 1873 год. Из открытых источников.

## КАК ЕЕ ПРИНЯЛИ?

Поскольку Достоевский и сам считал «Бесы» тенденциозной книгой («Хочется высказать несколько мыслей, хотя бы погибла при этом моя художественность», – пишет он Страхову 24 марта 1870-го) и написана она была как будто про «Народную расправу», неудивительно, что современники оценивали роман в основном с точки зрения идеологии. Критики, относившиеся к революционным настроениям с опаской, приветствовали «Бесов»: «Г. Достоевский, с его способностью наблюдать и анализировать преимущественно болезненные явления человеческой души, задался выследить роковое влияние новых идей на слабый ум и те нравственные изъявления, какие извращение этих идей производит в жалких, внутренне несостоятельных натурах, пораженных бессилием и бесплодием полуобразованности»<sup>[3]</sup> – так видел роман Василий Авсеенко и сам писавший антинигилистические произведения. Демократическая критика, напротив, обвиняла Достоевского в отказе от своих былых убеждений и в искажении сути «нечаевского дела». Петр Ткачев, критик и народник, привлекавшийся по делу (в 1881 году, уже в эмиграции, он напишет статью «Терроризм как единственное средство нравственного и общественного возрождения России»), писал о «Бесах»: «В болезненных представлениях уродцев, помешавшихся на каких-то неопределенно мистических пунктах, – очевидно, нисколько не отражается мирозерцание той среды – среды лучшей образованной молодежи, из которой они вышли»<sup>[4]</sup>. Салтыков-Щедрин сетовал о «дешевом глумлении над так называемым нигилизмом», которое позволяет себе Достоевский<sup>[5]</sup>. Примиряющей можно считать позицию Владимира Соловьева, который считал, что «верную и беспристрастную оценку романа [можно будет дать] только в далеком будущем»<sup>[6]</sup>.

## ЧТО БЫЛО ДАЛЬШЕ?

После революции и Гражданской войны «Бесы» оставались романом, прочтение которого зависело от политических взглядов читателя и нередко от того, по какую сторону советской границы читатель находился.

Главным противником «Бесов» был Максим Горький, заклеивший роман реакционным и социально вредным и создавший тем самым советскую традицию его восприятия. Еще в 1913 году, требуя запретить постановку «Бесов» в Художественном театре, он назвал Достоевского злым гением, а его роман одним из «темных пятен злорадного человеконенавистничества на светлом фоне русской литературы»<sup>[7]</sup>. В Советском Союзе «Бесы» издавались только дважды, в собраниях сочинений Достоевского, а единственная попытка издать роман отдельным двухтомником – в научном издательстве Academia в 1935 году – закончилась уничтожением тиража первого тома. Любопытно, что как раз это издание Горький попытался отстоять на страницах газеты «Правда» в полемике с критиком Заславским, назвавшим «Бесов» «литературной гнилью». Тем не менее итогом полемики стал запрет «Бесов», который продержался до 1957 года.

Символистская критика и экзистенциалисты объявили «Бесы» пророческой книгой, что тоже стало штампом, получившим вторую жизнь после перестройки. «Сейчас, после опыта русской революции, даже враги Достоевского должны признать, что “Бесы” – книга пророческая, – писал в 1918 году Николай Бердяев. – Достоевский видел духовным зрением, что русская революция будет именно такой и иной быть не может. Он предвидел неизбежность беснования в революции. Русский нигилизм, действующий в хлыстовской русской стихии, не может не быть беснованием, исступленным и вихревым кружением. Это исступленное вихревое кружение и описано в “Бесах”. Там происходит оно в небольшом городке. Ныне происходит оно по всей необъятной земле русской»<sup>[8]</sup>.

Роман подробно анализировал Фридрих Ницше, особое критическое внимание он уделял фигуре Алексея Кириллова. В 1959 году театральную инсценировку «Бесов» написал Альбер Камю, он же писал о романе, и тоже о Кириллове, в своем знаменитом эссе «Миф о Сизифе». «Бесов» несколько раз экранизировали в Германии, Италии, Мексике, Польше. В России роман снова начали ставить и экранизировать после 1991 года, спектакли по «Бесам» поставили в том числе Лев Додин и Юрий Любимов. В постсоветское время по отношению к «Бесам» устоялось определение «роман-предупреждение», особенно благодаря работам Людмилы Сараскиной.

## КАКИЕ РЕАЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ ЛЕЖАТ В ОСНОВЕ «БЕСОВ»?

Убийство студента Сергеем Нечаевым и членами «Народной расправы» не только вдохновило Достоевского на создание антинигилистического романа, но и вошло в роман в качестве одного из главных событий – убийства Шатова «нашими». Стратегия поведения Петра Верховенского и устройство его тайного общества иллюстрируют написанный Нечаевым манифест «Катехизис революционера».

В сентябре 1869 года революционный маньяк и мистификатор с характером тоталитарного лидера Сергей Нечаев приехал в Москву с мандатом, подписанным Михаилом Бакуниным, и деньгами «Бахметьевского фонда»<sup>4</sup>, полученными от Николая Огарева. Бакунину и Огареву Нечаев представился в Швейцарии делегатом несуществующего Русского революционного комитета. В Москве же он открыл революционную ячейку организации «Народная расправа» в Петровской земледельческой академии, представившись студентам членом центрального комитета и рассказав о ячейках в других городах по всей России (в действительности их тоже не существовало). Московская ячейка распространяла прокламации, в том числе «Катехизис революционера». 21 ноября 1869 года нечаевцы запланировали расклеить листовки в академии, чтобы поддержать студенческие волнения в Московском университете. Один из членов кружка, Иван Иванов, выступил против этой акции, так как опасался, что она может привести к закрытию академии. Нечаев, требовавший от своих подопечных жесткой дисциплины и беспрекословного подчинения, почувствовал угрозу своему положению в ячейке. Тогда он ложно обвинил Иванова в предательстве и сотрудничестве с властями и убедил других членов кружка в том, что предателя нужно убить. Иванова заманили в парк академии под предлогом, что там в гроте закопан типографский станок, который нужно достать. Когда Иванов пришел, бывшие единомышленники набросились на него и сначала пытались задушить, а потом сам Нечаев застрелил отбивавшегося студента. Тело бросили в пруд, привязав к нему кирпичи. Через несколько дней крестьяне обнаружили следы борьбы и труп Иванова.

Достоевский помещает события «Бесов» в то же время – осень 1869 года. Но, поскольку работа над романом и его публикация идут три года, да и реальный судебный процесс растягивается из-за отсутствия главного преступника, в текст прямо или косвенно проникают события 1870–1872 годов: Франко-прусская война, Парижская коммуна, смерть Герцена и другие. Таким образом роман сохраняет публицистическую остроту на протяжении всей журнальной публикации. Заодно создается эффект присутствия в мире «Бесов» для читателей-современников: с героями романа их объединяет общая повестка, как будто романное время течет параллельно времени чтения (сегодня такой прием часто используют авторы политических и юридических сериалов, стремясь реагировать на резонансные события, пока те еще обсуждаются в соцсетях).

---

<sup>4</sup> В конце 1850-х годов помещик Павел Бахметьев увлекся идеями утопического социализма, распродал все свое имущество и уехал на острова Тихого океана строить коммуны, где бесследно пропал. Когда Бахметьев был проездом в Европе, он передал Александру Герцену и Николаю Огареву 20 тысяч франков на нужды революции.



Грот в Петровско-Разумовском парке. 1910 год. В одном из таких гротов произошло убийство студента Иванова соратниками по революционной организации «Народная расправа»<sup>5</sup>

В ходе нечаевского процесса были допрошены 87 человек, несколько нечаевцев получили оправдательный приговор, другие отправились на каторгу. Сам Нечаев бежал в Швейцарию и был выдан российским властям только в 1872-м. Через две недели после выхода «Бесов» отдельной книгой суд присяжных вынес приговор экстрадированному Нечаеву – 20 лет каторжных работ, но после суда его поместили в Петропавловскую крепость как политического преступника. В конце 1880 года Нечаев связался через караульных солдат с членами организации «Народная воля» и предложил им план своего побега. Однако народовольцы уже готовили покушение на Александра II и не могли рисковать собой ради Нечаева, чьи иезуитские методы к тому же были им чужды. Через два года Нечаев умер в тюрьме.

## ЧТО МЫ ЗНАЕМ О ПРОТОТИПАХ ГЕРОЕВ РОМАНА?

У всей «пятерки» Верховенского и многих других героев романа есть реальные прототипы, часто Достоевский называл персонажей их именами в черновиках. Так, например, Степан Трофимович Верховенский во время работы над романом носил фамилию Грановский, в честь историка-медиевиста Тимофея Грановского, профессора Московского университета, друга Герцена и Огарева, известного западника, близкого к кругу журнала «Современник». Правда, Верховенский-старший в отличие от своего прототипа только говорит о своих исторических трудах и былом участии в политическом движении, не имея никаких подтверждений ни тому, ни другому, и весь его образ комического старика представляет собой довольно злую сатиру на Грановского как одну из крупных фигур русского западничества. С другой стороны, начальная историческая точка, от которой отсчитываются события романного прошлого в «Бесах», – 1849 год, год ареста петрашевцев<sup>6</sup>, среди которых был и сам Достоевский.

---

<sup>5</sup> Грот в Петровско-Разумовском парке. 1910 год. Из открытых источников.

<sup>6</sup> Участники кружка Михаила Буташевича-Петрашевского. Соборания проходили в Петербурге во второй половине 1840-х годов, на них обсуждались идеи общественного переустройства и популярные теории утопического социализма. Кружок посещали писатели, художники, учителя, чиновники. По «делу петрашевцев» было арестовано около сорока человек, поло-

Так что можно предположить, что Верховенский-старший все-таки имеет некоторую политическую биографию и представляет собой собирательный образ идеалиста 1840-х годов. Как охарактеризовал его, к восторгу Достоевского, Аполлон Майков: «...это тургеневские герои в старости».

Петр Степанович Верховенский носит в черновиках фамилию Нечаев или Речаев, хотя тому, что его прототип – Сергей Нечаев, и так не требуется лишних доказательств. Некоторые исследователи видят в образе Петруши и черты Михаила Буташевича-Петрашевского, лидера петрашевцев.

Липутин получил фамилию, напоминающую о нечаевцах Лихутиных, но его прототипом послужил скорее Петр Гаврилович Успенский, который был правой рукой Нечаева в «Народной расправе». Это он фактически организовал для Нечаева тайное общество, предоставлял свою квартиру для встреч и вел протоколы. После ареста он же оказался одним из самых полезных свидетелей по делу.

Виргинский сочетает в себе черты того же Успенского и Алексея Кирилловича Кузнецова, студента Петровской академии, будущего краеведа и просветителя, приговоренного к десяти годам каторги за участие в убийстве Иванова. Кузнецов собирал деньги и вещи для «Народной расправы», выполнял мелкие поручения Нечаева, постоянно встречался с разными лицами по его приказу.

Прототип Толкаченко – фольклорист, этнограф Иван Гаврилович Прыжов, присутствовавший при убийстве, но не участвовавший в нем. Моисей Альтман, подробно сопоставивший биографии Прыжова и Толкаченко, предполагает, что Достоевский знал Прыжова лично<sup>[9]</sup>.

Прототип Эркеля – преданный нечаевец, бывший надзиратель в арестном доме Николай Николаевич Николаев, который зимой 1869 года отдал Нечаеву свой паспорт, чтобы тот смог бежать за границу. Именно Николаев заманил студента Иванова в грот под предлогом поиска печатного станка.

Кириллов унаследовал характер петрашевца Константина Тимковского, лейтенанта черноморского флота в отставке. Тимковский был прекрасно образован, знал несколько языков, но с маниакальной страстью поддавался какой-нибудь идее, которая заслоняла для него все остальное. Первоначально глубоко религиозный человек, Тимковский затем хотел научно доказать божественность Христа, а позже стал таким же ярким атеистом. В кружке Петрашевского он горячо говорил об изменении мира и готовности пожертвовать собой во имя свободы. «Некоторые принимали его за истинный, дагеротипно верный снимок с Дон Кихота и, может быть, не ошибались»<sup>[10]</sup>, – писал о Тимковском Достоевский. Некоторые детали биографии перешли к Кириллову от Достоевского, например умерший семь лет назад старший брат или привычка пить крепкий чай по ночам.

Роль студента Иванова в романе формально выполняет Иван Шатов. Содержательно же Достоевский передает ему свою собственную идеологическую эволюцию.

Фигура Хроникера отчасти обязана Ивану Григорьевичу Сниткину, младшему брату жены Достоевского. Учитывая, что во время пребывания в Дрездене Сниткин был главным собеседником и конфиденнтом Достоевского, можно сравнить их отношения с отношениями Антона Лаврентьевича Г-ва и Верховенского-старшего, что позволяет думать, что фигура Степана Трофимовича создана писателем в том числе как самопародия.

Наконец, есть частичный прототип и у Ставрогина – это Николай Спешнёв, центральная фигура политического кружка Дурова<sup>7</sup> и автор его устава, дворянин, долго проживший за границей, светский лев, роковой красавец с неподвижными чертами лица, исследователь

вину из них осудили на смертную казнь, которая оказалась инсценировкой – осужденных помиловали и отправили на каторгу.

<sup>7</sup> Соборания у Сергея Федоровича Дурова, проходившие в 1848–1849 годах. Именно у Дурова Достоевский читал вслух запрещенное письмо Белинского к Гоголю.

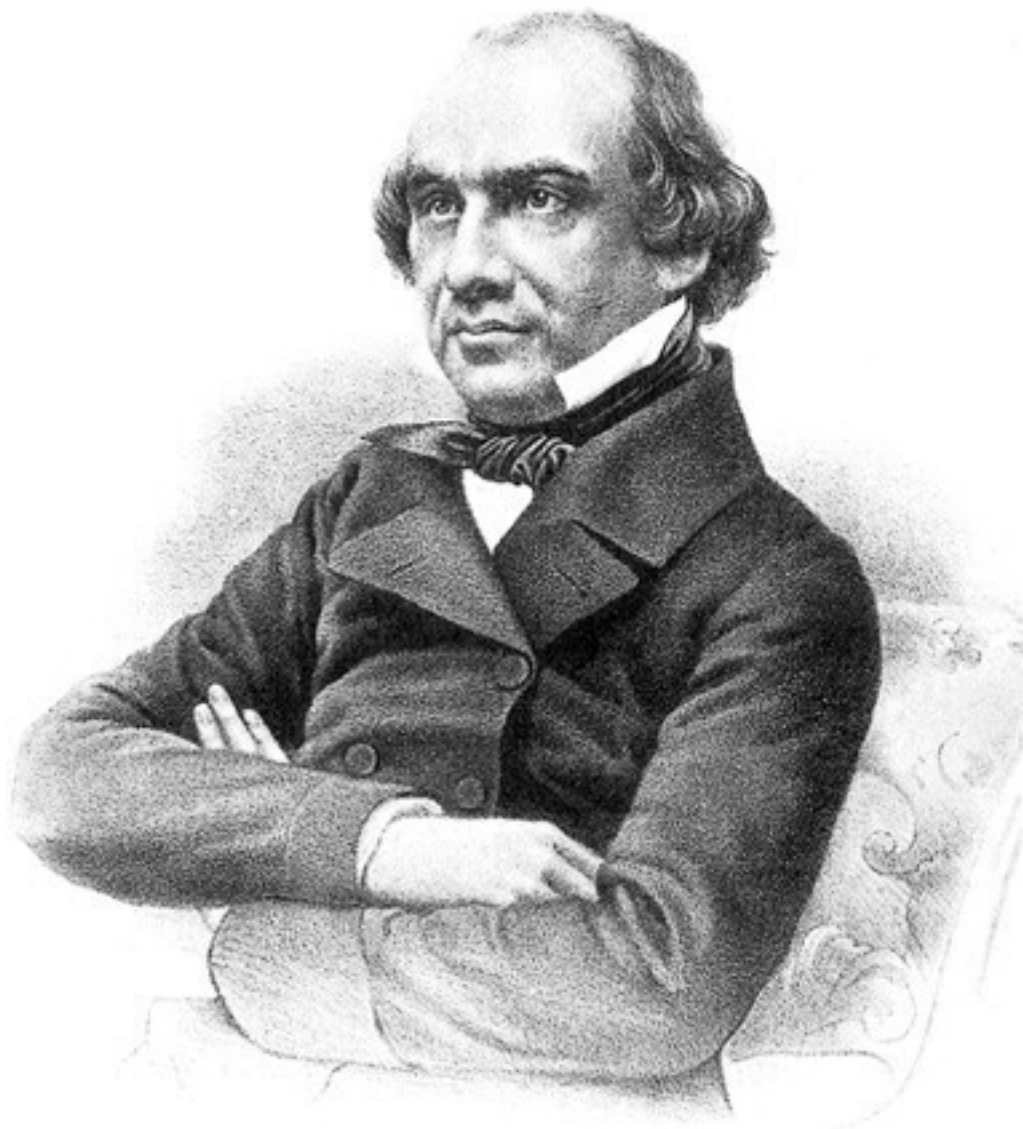
раннего христианства как тайного общества, пропагандировавший «социализм, атеизм, терроризм, все, все доброе на свете»<sup>[11]</sup>. Молодой Достоевский находился в странной психологической зависимости от Спешнёва, называл его своим Мефистофелем и к тому же занял у него крупную сумму денег, которую не мог отдать. А Тимковский – прототип Кириллова – указывал на допросе, что именно Спешнёв соблазнил его атеизмом.

### **КТО ВСЕ-ТАКИ ГЛАВНЫЙ ГЕРОЙ «БЕСОВ» – ВЕРХОВЕНСКИЙ ИЛИ СТАВРОГИН?**

В «Бесах» оказалось как будто бы два главных героя, из-за того что замысел романа сильно изменился в процессе работы. Поначалу Достоевский собирался написать памфлет против нигилистов и западников, а всю сущность политических радикалов, какой видел ее писатель, в романе должен был воплощать Петруша Верховенский. Но постепенно «Бесы» разрастались и поглощали предыдущие замыслы Достоевского, в том числе роман «Атеизм», роман о Князе и Ростовщике, «Житие великого грешника»<sup>8</sup>. Все эти ненаписанные произведения так или иначе предполагали воплощение мечты Достоевского создать русского «Фауста» или русскую «Божественную комедию» – идеальное, всеохватное произведение о потере и обретении веры. Именно из этих замыслов в «Бесах» появился Ставрогин – Князь, великий грешник, имморалист, который обрел абсолютную свободу, но не может обрести веру.

---

<sup>8</sup> Ненаписанная философская эпопея Достоевского о внутренней борьбе и духовных исканиях русского человека. По замыслу писателя, она должна была состоять из пяти отдельных повестей, объединенных главным героем-правдоискателем.



Историк Тимофей Грановский. Портрет с литографии 1860-х годов. Прототип Степана Трофимовича Верховенского<sup>9</sup>

Если бы глава «У Тихона» осталась в тексте романа, первенство Ставрогина было бы более очевидным – Достоевский и раньше строил свои романы вокруг одного главного героя. Из-за изъятия главы герой оказался как будто недостаточно прописанным, неуловимым гораздо больше, чем планировал автор, помечая в черновиках, что Ставрогин должен быть лицом загадочным и романтическим. Впрочем, несмотря на излишнюю загадочность Ставрогина (Николай Бердяев считал его самым загадочным персонажем не только «Бесов», но и мировой литературы), весь мир «Бесов» центрирован именно вокруг него: все, включая Петра Верховенского, любят и ненавидят его одновременно, ищут его внимания и одобрения, одержимы им. Пожалуй, нет в романе героя, которому Ставрогин не принес бы страданий, не соблазнил, не оскорбил, не погубил, – и этим же героям он видится солнцем, князем, ясным соколом, Иваном-царевичем. В достоевсковедении есть вариант интерпретации, который предполагает, что все остальные персонажи «Бесов» – только носители разных идей и свойств Ставрогина, его зеркала, его вторичные воплощения или вовсе функции, позволяющие сообщить

---

<sup>9</sup> Историк Тимофей Грановский. Портрет с литографии 1860-х годов. Государственная публичная историческая библиотека.

о Ставрогине больше деталей. Первым такую мысль [высказал](#) как раз Бердяев, считавший, что Достоевский романтически влюблен в своего героя: «В этой символической трагедии есть только одно действующее лицо – Николай Ставрогин и его эманации»<sup>[12]</sup>.

### **МОЖНО ЛИ НАЗВАТЬ СТАВРОГИНА «ЛИШНИМ» ИЛИ «НОВЫМ» ЧЕЛОВЕКОМ?**

Для начала стоит сказать, что «лишние» и «новые» люди – штампы школьного литературоведения, которые могут пригодиться для классификации тех или иных волн, тенденций в литературе XIX века, но сужают героев выдающихся произведений, будь то Онегин, Печорин, Базаров или Ставрогин. История Ставрогина вовсе не о том, что он скучал, не находил себе применения в общественной жизни и противопоставлял свой образ жизни образу жизни старшего поколения. Достоевский в письме редактору «Русского вестника» Николаю Любимову так объяснял необходимость как можно полнее – с помощью главы «У Тихона» – раскрыть образ Ставрогина в романе: «...это целый социальный тип (в моем убеждении), наш тип, русский, человека праздного, не по желанию быть праздным, а потерявшего связи со всем родным и, главное, веру, развратного из тоски, но совестливого и употребляющего страдальческие судорожные усилия, чтоб обновиться и вновь начать верить. Рядом с нигилистами это явление серьезное. Клянусь, что оно существует в действительности. Это человек, не верующий вере наших верующих и требующий веры полной, совершенной, иначе...»

Но даже создатель Ставрогина, лелеявший своего героя, взятого «из сердца», не вполне понимал, насколько Ставрогин – фигура не типическая. «Это мировая трагедия истощения от безмерности, трагедия омертвения и гибели человеческой индивидуальности от дерзновения на безмерные, бесконечные стремления, не знавшие границы, выбора и оформления», – писал<sup>[13]</sup> о Ставрогине Бердяев. «...Человекобог, о котором мечтал Кириллов и по сравнению с которым сверхчеловек Ницше кажется только тенью, – писал литературовед Константин Мочульский, считавший Ставрогина величайшим художественным созданием Достоевского. – Это грядущий Антихрист, князь мира сего, грозное пророчество о надвигающейся на человечество космической катастрофе»<sup>[14]</sup>. Вячеслав Иванов описывал Ставрогина как «отрицательного русского Фауста», в котором угасла любовь: «Изменник перед Христом, он неверен и Сатане. <...> Он изменяет революции, изменяет и России... Всем и всему изменяет он, и вешается, как Иуда, не добравшись до своей демонической берлоги в угрюмом горном ущелье». Впрочем, были и исследователи, которые считали Ставрогина типичным декадентом или шизофреником, но даже эти скромные характеристики значительно расширяют рамки «лишнего человека»<sup>[15]</sup>.



Илья Репин. Сходка (При свете лампы). 1883 год<sup>10</sup>

р

### **ЗА ЧТО ЖЕНЩИНЫ ЛЮБЯТ СТАВРОГИНА И ЛЮБИТ ЛИ ОН ХОТЬ ОДНУ ИЗ НИХ?**

В «Бесах» Ставрогин действительно окружен женщинами, и с каждой его связывают любовные отношения: это Лизавета Тушина, Мария Шатова, Дарья Шатова и Марья Лебядкина. Если опираться на идею о том, что все персонажи «Бесов» суть части образа Ставрогина, то каждая из названных женщин обозначает один из путей, по которому Ставрогин мог бы пойти. Аристократическая жизнь в Москве с приемами и визитами, о которой мечтает Лиза. Жизнь разночинца и революционера, какую, вероятно, могла бы предложить Мария (о ней мы только и знаем, что ее выгнали из гувернанток за «вольные мысли»). Жизнь декадента в углах, какую Ставрогин, собственно, и вел, женившись на «восторженной идиотке» Лебядкиной «по сладострастию нравственному» (по версии Шатова). Наконец, жизнь тихого семьянина и наследника поместья, какую он вполне мог бы вести, оставшись в Скворешниках с Дашей. Впрочем, Даша готова разделить любую жизнь со Ставрогиным, она единственная верна мечте быть с ним и принимает его предложение уехать в кантон Ури, тогда как Лиза и даже Лебядкина приглашение отвергают. В то же время каждая из них – взгляд, определяющий Ставрогина как персонажа, ведь его природа двойственна и неуловима. Ставрогин – как будто дух, который получает конкретные очертания только в восприятии другого, и, значит, каждая любит в нем свои представления об идеале.

Можно рассматривать систему «Ставрогин и женщины» в символическом ключе. В таком случае темной стороне личности Ставрогина будет соответствовать Марья Лебядкина, а светлой – Даша. Людмила Сараскина обращает внимание на то, что хромые персонажи у Достоевского являются носителями «душевной порчи», и это неудивительно, учитывая, что хромота – устойчивая характеристика черта. То есть Хромоножка – существо inferнальное. Недаром она одержима Ставрогиным только до тех пор, пока считает его Князем, то есть чем-то вроде темного властелина, а как только в нем созревает мысль покаяться, жена его не признаёт – и гибнет. При этом, например, символистская критика видела в Хромоножке душу мира, мать-

<sup>10</sup> Илья Репин. Сходка (При свете лампы). 1883 год. Государственная Третьяковская галерея.

землю и вечную женственность. Одержима Ставрогиным и Лиза, которая страдает нервными припадками и имеет навязчивую идею о хромоте. Здравый смысл вроде бы помогает ей отвергнуть Николая Всеволодовича, и в то же время она жертвует своей репутацией и, как быстро выяснится, жизнью ради ночи с ним, как будто продает душу дьяволу: «Я разочла мою жизнь на один только час и спокойна». Умирает и Мария Шатова, появившаяся в городе с лихорадочным блеском в глазах, чтобы родить ребенка от Ставрогина. Остается жить только Даша. Но спасает Дашу, вероятно, не самоубийство Ставрогина, а то, что ее любовь другого характера, она не одержима страстью, ее навязчивая идея – спасти его: «Никогда, ничем вы меня не можете погубить, и сами это знаете лучше всех... Если не к вам, то я пойду в сестры милосердия, в сиделки, ходить за больными, или в книгоноши, Евангелие продавать. Я так решила. Я не могу быть ничьею женой; я не могу жить и в таких домах, как этот. Я не того хочу...» Даша – тот же тип героини Достоевского, что и Соня Мармеладова, только если Раскольников мог покаяться и воскреснуть, то Ставрогин не может, и «ангел» Даша не в силах его спасти. Гражданин кантона Ури намыливает шелковый снурок, не способный к смирению, не готовый к тому, чтобы принять Дашину жертвенную любовь, а значит – и к спасению. И нет, сам он, демон и царь равнодушия, так никого и не любит.

### **ПОЧЕМУ ДОСТОЕВСКИЙ ИСКЛЮЧИЛ ИЗ «БЕСОВ» ГЛАВУ «У ТИХОНА»? В КАКОМ МЕСТЕ ОНА ДОЛЖНА БЫЛА БЫТЬ И НУЖНО ЛИ ЕЕ ЧИТАТЬ?**

То, что Достоевский сам изъял главу из романа, – миф, возникший из неверного примечания к изданию 1957 года (возможно, оно было сделано из лучших побуждений: до этой публикации роман был запрещен уже 22 года, и комментаторы решили подстраховать автора). «У Тихона» – одна из ключевых глав, которая, по замыслу Достоевского, должна была объяснить Ставрогина, суть его внутреннего конфликта и мотивы многих поступков, вплоть до самоубийства.

В этой главе Ставрогин приходит к старцу Тихону и дает ему прочитать отпечатанные в заграничной типографии листки со своей исповедью. В тексте Ставрогин рассказывает, как совратил маленькую девочку Матрешу, которая после этого повесилась. Он упоминает и о других совершённых преступлениях, но именно это его мучает: он видит во сне Матрешу, грозящую ему кулачком, и его последняя надежда избавиться от мучительного видения – обнародовать исповедь. Встреча с Тихоном похожа не на разговор со священником, а на сеанс у психолога («проклятым психологом» и называет его Ставрогин в финале). Тихон сомневается в искренности покаяния Ставрогина и в том, что тот вынесет последствия своего плана, а затем предсказывает ему самоубийство: «Нет, не после обнародования, а еще до обнародования листков, за день, за час, может быть, до великого шага, вы броситесь в новое преступление как в исход, чтобы только избежать обнародования листков».

Издатель «Русского вестника» Катков ни за что не захотел публиковать главу, объясняя отказ цензурными соображениями. Достоевский предлагал разные версии главы, в частности увеличил возраст Матрешы с 10 до 14 лет, чтобы сцена растления не выглядела так шокирующе. В письме Любимову, сопровождавшему вторую редакцию, Достоевский писал: «Мне кажется, то, что я Вам выслал... теперь уже можно напечатать. Все очень скабрёзное выкинуто, главное сокращено, и вся эта полусумасшедшая выходка достаточно обозначена, хотя еще сильнее обозначится впоследствии, клянусь Вам, я не мог не оставить сущности дела...» Сначала глава должна была быть девятой во второй части романа, потом – первой главой третьей части, но в любом случае находиться примерно в центре всего текста. Однако ни в журнальной версии, ни в первом книжном издании она не появилась. Юрий Карякин предположил, что настоящей причиной запрета главы «У Тихона» была полемика 1861 года, когда

Катков выступил с критикой «Египетских ночей», обвинив Пушкина в «эротизме», а Достоевский ответил в том духе, что разврат – в глазах смотрящего: «Это последнее выражение [страсти], о котором вы так часто толкуете, по-вашему, действительно может быть соблазнительно, по-нашему же, в нем представляется только извращение природы человеческой, дошедшее до таких ужасных размеров и представленное с такой точки зрения поэтом (а точка зрения-то и главное), что производит вовсе не клубничное, а потрясающее впечатление»<sup>[16]</sup>. Запретив главу «У Тихона», Катков все-таки настоял на своем: двусмысленной чувственности не место в литературе. Достоевский уже не смог никого переубедить, приводя те же справедливые аргументы, что и в полемике десятилетней давности: противники публикации (к Каткову и Любимову присоединились Майков и Страхов) убеждали Достоевского, что, если о грехе Ставрогина узнают читатели, они непременно подумают, будто он описал собственный опыт. Слухи о том, что подобный опыт у писателя был, Страхов пересказывал в письме<sup>[17]</sup> Льву Толстому в 1883 году, уже после смерти Достоевского. Современные исследователи подвергают сомнению правдивость этой истории.



## Рабочий стол в Доме-музее Федора Достоевского в Санкт-Петербурге<sup>11</sup>

Не считая отдельной публикации в 1922-м, запрещенная глава была впервые опубликована в 1926 году в приложении к «Бесам» Полного собрания художественных произведений Ф. М. Достоевского в 13 томах. Юрий Карякин сравнивал «Бесы» без центральной главы с собором, из которого с мясом выдрали купол, расписанный гениальными фресками. По мнению Аркадия Долинина, исповедь Ставрогина представляет собой «кульминационную вершину всего романа, сконденсированный синтез жизни Ставрогина во всех трех аспектах: событийном, психическом и духовном»<sup>[18]</sup>. Одним словом, без этой главы посреди романа зияет смысловая и композиционная дыра, и ее необходимо читать хотя бы как флешбэк.

### **В ЧЕМ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ ТЕОРИЯ КИРИЛЛОВА И ЗАЧЕМ ОН НУЖЕН В РОМАНЕ?**

Кириллов – жертва интеллектуального эксперимента, который превратил его в мономана, одно из созданий Ставрогина (Ставрогин приводит Кириллова к атеизму, а Шатова к вере). Если попытаться пересказать его теорию человекобога кратко, она выглядит примерно так: если человек отрицает существование Бога, значит, он ставит свою волю превыше всего – на место, где у верующего Бог; если человек свободен от Бога – он сам себе бог; если человек осознаёт, что он сам бог, – он должен убить себя. Альбер Камю пересказывает теорию Кириллова еще проще и парадоксальнее, в форме классического силлогизма: если Бога нет, Кириллов – бог; если Бога нет, Кириллов должен убить себя; следовательно, Кириллов должен убить себя, чтобы стать богом. «Это абсурдная логика, но она-то здесь и необходима»<sup>[19]</sup>.

В событиях, о которых рассказывает Хроникер, роль Кириллова – совершить самоубийство в тот момент, который выберет Петруша, чтобы взять на себя вину за убийство Шатова. Но у такого писателя, как Достоевский, сюжетная функция Кириллова, конечно, не может сводиться к самоубийству ради планов Верховенского, которые Кириллова к тому же вовсе не интересуют. Идея «логического самоубийства», которое и стремится совершить Кириллов, занимает Достоевского много лет, уже после «Бесов» он несколько раз рассуждает о нем в «Дневнике писателя». В «Мифе о Сизифе» Камю анализирует теорию Кириллова и приходит к выводу, что через нее Достоевский заявляет проблему абсурдности мира, над которой сам продолжает биться до конца жизни и которой в «Братьях Карамазовых» противопоставляет веру Алеши. Выходит, что Кириллов – промежуточная форма идеи Достоевского, одно из ее звеньев.

Точно так же Кириллов занимает промежуточное место в цепочке суицидов в «Бесах»: он убивает себя после Матрешы и перед Ставрогиным. Мысль об убийстве Бога хронологически впервые звучит в доме на Гороховой – Ставрогин слышит от Матрешы: «Бога убила». Матреша приписывает себе преступление, которое совершает Ставрогин. Тогда же Ставрогин думает застрелиться, но не делает этого, предпочитая испортить себе жизнь браком с Хромоможкой. Таким образом, убив Бога, он остается жить и, согласно кирилловскому развитию теории, становится не богом, а царем («царем равнодушия», как называет его Камю), а идею богоубийства передает Кириллову. В итоге же все трое погибают из-за ставрогинского атеизма. Матреша становится его жертвой (вседозволенность в отсутствие Бога – постулат, который лежит в основе ненависти Достоевского к социализму, нигилизму и т. д.; писатель сформулирует эту мысль устами Мити Карамазова: «Только как же, спрашиваю, после того человек-то? Без Бога-то и без будущей жизни? Ведь это, стало быть, теперь все позволено, все можно делать?»). Сам Ставрогин убивает себя от невозможности покаяться, потому что в нем нет

---

<sup>11</sup> Рабочий стол в Доме-музее Федора Достоевского в Санкт-Петербурге. © Alamy.

веры. А Кириллов, как и планировал, приносит себя в жертву ради того, чтобы указать другим путь, – как связующее звено, он показывает последствия утраты веры и логику самоубийства в мире Достоевского и готовит почву для развития идеи в будущих текстах писателя.

### **КОГО ДОСТОЕВСКИЙ ВЫСМЕИВАЕТ В ОБРАЗАХ КАРМАЗИНОВА И ЛЕБЯДКИНА?**

Кармазинов – собирательный образ «чистого западника», как и Степан Трофимович, но, в отличие от старшего Верховенского, чисто сатирический. Фамилия «великого писателя» прямо указывает на Карамзина как источник, но гораздо больше у Кармазинова – от Тургенева, с которым Достоевский открыто враждовал после выхода романа «Дым» в 1867 году и которого обвинял в «отрыве русского культурного слоя от почвы». Достоевский приписывает Кармазинову тургеневскую любовь ко всему немецкому, симпатии к революционно настроенной молодежи и одновременно лояльность властям и украшает это карикатурными «сюсюкающим тоном» и привычкой лезть лобызаться при встрече, высмеивая тургеневские манеры. Повесть «Мерси», которую Кармазинов читает на вечере у Лембке, – литературная пародия сразу на несколько текстов Тургенева: «Довольно», «Призраки», «Казнь Тропмана», «По поводу “Отцов и детей”». Аркадий Долинин в статье «Тургенев в “Бесах”» анализирует эти пародии и, кроме прочего, утверждает, что Тургенев начал войну пародий первым, – во всяком случае Достоевский принимает князя Коко из «Дыма» на свой счет<sup>[20]</sup>. Кстати, в черновиках «Бесов» фамилию Карамзина носит еще и Лиза, ставшая впоследствии Тушиной.

А вот капитан Лебядкин при всем своем комизме, как ни странно, не пародиен. Его природа иного свойства, ее прекрасно объяснил Владислав Ходасевич в статье «Поэзия Игната Лебядкина»: «Будучи интендантский чиновник, он всю севастопольскую кампанию служил “по сдаче подлого провианта”, но ради мечты (и лишь отчасти из жульничества) выдает себя за капитана и воображает, будто вполне героически лишился руки, хотя обе руки у него целы. – Этот-то вот иллюзорный, идеальный Лебядкин, не понятый никем и несправедливо презираемый, – он-то и есть поэт»<sup>[21]</sup>. Хотя Лебядкин и позволяет Ставрогину смеяться над его стихами, сам относится к ним со всей серьезностью, «именно потому, что они отражали лучшего, воображаемого Лебядкина». Комический эффект лебядкинских любовных стихов возникает из-за трагического, в общем-то, несоответствия формы и содержания: серьезный пафос автора, его чувство сталкиваются с его неспособностью создать адекватную форму. «Поэзия Лебядкина есть искажение поэзии, но лишь в том же смысле и в той же мере, как сам он есть трагическое искажение человеческого образа», – пишет Ходасевич.

Впрочем, все это отнюдь не значит, что Достоевский не имел в виду никакой пародии. Через лебядкинские тексты он высмеивает гражданскую лирику 1860-х годов («Таракан», «Отечественной гувернантке» в соавторстве Лебядкина с Липутиным); передает насмешливый привет Белинскому, пародируя «Наездницу» Бенедиктова, которую Белинский раскритиковал, отказавшись при этом цитировать из-за слова «члены» (у Лебядкина в стихотворении «В случае, если б она сломала ногу» – «краса красот сломала член»). Кроме этого, в «Бесах» пародируется и романтическая натурфилософская поэма 1830-х годов, правда, уже не устами Лебядкина, а через пересказ поэмы Степана Трофимовича Верховенского. Илья Серман в статье «Стихи капитана Лебядкина и поэзия XX века» пишет<sup>[22]</sup>, что между Верховенским-старшим и Лебядкиным Достоевский разделил свойства заглавного героя из ненаписанной повести «Картузов», возвышенного поэта-графомана. В той же статье Серман делает вывод о роли поэзии Лебядкина в романе: «Ничего другого, кроме стихов Лебядкина, абсурдный мир, изображенный в “Бесах”, породить в стихотворной форме не может. Мир, который в стихах может себя выразить только в абсурдной по нарушению всех реальных связей вещей и слов форме, представлен в “Бесах” по правилу: какова жизнь, такова и поэзия». Кстати, именно абсурд,

заклученный в поэзии капитана, помог найти Лебядкину признание в XX веке. Всерьез, ровно как и мечтал поэт в «Бесах», его восприняли Заболоцкий, Олейников и другие обэриуты, а Дмитрий Шостакович написал сочинение «Четыре стихотворения капитана Лебядкина».

## **ПОЧЕМУ ДОСТОЕВСКИЙ ТАК ОПОЛЧИЛСЯ НА НИГИЛИСТОВ И ЗАПАДНИКОВ? ЕСТЬ ЛИ В «БЕСАХ» ПЕРСОНАЖИ И ИДЕИ, КОТОРЫМ АВТОР СОЧУВСТВУЕТ?**

Достоевский и сам чуть не стал революционером. В 1847–1849 годах он посещал «пятницы» у Михаила Буташевича-Петрашевского, где собирались умеренные сторонники освободительного движения сороковых годов. Петрашевцы читали и обсуждали работы европейских философов – Фурье, Сен-Симона и Фейербаха, видели связь между социализмом и христианством, мечтали об отмене крепостного права, общинности и «всеобщем счастье». Более радикальным был кружок Дурова, отколовшийся от петрашевцев, куда тоже входил Достоевский. Но и радикализм этого кружка (если не считать сурового устава, написанного Николаем Спешнёвым и напоминающего нечаевский «Катехизис революционера») заключался в том, чтобы готовить народ к восстанию с помощью подпольной типографии. Тем не менее в годы правления Николая I взгляды петрашевцев считались достаточно революционными, чтобы установить за кружком слежку и заподозрить его членов в умысле на ниспровержение существующих отечественных законов и государственного порядка – так впоследствии звучало обвинение. В 1849 году 34 посетителя пятниц были задержаны, из них 15, в том числе Достоевский, приговорены к смертной казни. Смертный приговор заменили каторгой, так как на самом деле никакого антиправительственного заговора среди петрашевцев суд не обнаружил, но объявили об этом только после того, как казнь была инсценирована.

Этот страшный опыт и последующие годы на каторге и «в солдатчине» заставили Достоевского пересмотреть свои взгляды. Познакомившись с другими каторжными и солдатами и ощутив неприязнь, которую они испытывают к дворянам, писатель увлекся идеей «русского Христа», то есть тем православием с националистическим оттенком, как его понимали и исповедовали в народе, и самим народом как носителем религиозной правды. Достоевский последовательно превратился в почвенника, с брезгливостью отвергая теперь фурьеризм, которым был увлечен в 1840-х. Впрочем, [по свидетельству](#) Павла Милюкова, писатель уже в 1849 году задумался об особом русском пути: «Мы должны искать источников для развития русского общества не в учениях западных социалистов, а в жизни и вековом историческом строе нашего народа; в общине, артели и круговой поруке давно уже существуют основы, более прочные и нормальные, чем в мечтаниях Сен-Симона и его школы». Отсюда и его неприязнь к западничеству и тем более к социалистам и нигилистам, которых Достоевский считал прямыми наследниками западников своего поколения (эту связь он обозначил в «Бесах» с помощью отца и сына Верховенских), да и ко всем остальным революционерам, в которых Достоевский не видел смысла после отмены крепостного права, – с восхождением Александра II на престол писатель вообще стал исключительно лоялен к власти. А 1867–1873 годы – «период самый фанатический в славянофильстве Достоевского»<sup>[23]</sup>.

Несомненно, самый близкий Достоевскому персонаж «Бесов» – Шатов. Хотя его сюжетная роль списана со студента Иванова, его идеологический переход и сомнения отражают философскую и религиозную биографию самого Достоевского. Справедливости ради нужно заметить, что даже своим идеологическим врагам писатель дает шанс в «Бесах», заставляя, например, Петрушу признаться, что он не социалист, а мошенник.

## Бесы



Хоть убей, следа не видно,  
Сбились мы, что делать нам?  
В поле бес нас водит, видно,  
Да кружит по сторонам.

.....  
Сколько их, куда их гонят,  
Что так жалобно поют?  
Домового ли хоронят,  
Ведьму ль замуж выдают?

*А. Пушкин*

Тут на горе паслось большое стадо свиней, и они просили Его, чтобы позволил им войти в них. Он позволил им. Бесы, вышедши из человека, вошли в свиней; и бросилось стадо с крутизны в озеро и потонуло. Пастухи, увидя случившееся, побежали и рассказали в городе и по деревням. И вышли жители смотреть случившееся и, пришедши к Иисусу, нашли человека, из которого вышли бесы, сидящего у ног Иисусовых, одетого и в здравом уме, и ужаснулись. Видевшие же рассказали им, как исцелился бесновавшийся.

*Евангелие от Луки.*

*Глава VIII,*

*32–36*

## Часть первая

# Часть первая



## Глава первая

### Вместо введения: несколько подробностей из биографии многочтимого Степана Трофимовича Верховенского

#### I

Приступая к описанию недавних и столь странных событий, происшедших в нашем, доселе ничем не отличавшемся городе, я принужден, по неумению моему, начать несколько издалека, а именно некоторыми биографическими подробностями о талантливом и многочисленном Степане Трофимовиче Верховенском. Пусть эти подробности послужат лишь введением к предлагаемой хронике, а самая история, которую я намерен описывать, еще впереди.

Скажу прямо: Степан Трофимович постоянно играл между нами некоторую особую и, так сказать, гражданскую роль и любил эту роль до страсти, – так даже, что, мне кажется, без нее и прожить не мог. Не то чтоб уж я его приравнивал к актеру на театре: сохрани Боже, тем более что сам его уважаю. Тут все могло быть делом привычки, или, лучше сказать, непрерывной и благородной склонности, с детских лет, к приятной мечте о красивой гражданской своей постановке. Он, например, чрезвычайно любил свое положение «гонимого» и, так сказать, «ссылного». В этих обоих словечках есть своего рода классический блеск, соблазнивший его раз навсегда, и, возвышая его потом постепенно в собственном мнении, в продолжение столь многих лет, довел его наконец до некоторого весьма высокого и приятного для самолюбия пьедестала. В одном сатирическом английском романе прошлого столетия некто Гулливер, возвратясь из страны лилипутов, где люди были всего в какие-нибудь два вершка росту, до того приучился считать себя между ними великаном, что, и ходя по улицам Лондона, невольно кричал прохожим и экипажам, чтоб они пред ним сворачивали и остерегались, чтоб он как-нибудь их не раздавил, воображая, что он все еще великан, а они маленькие. За это смеялись над ним и бранили его, а грубые кучера даже стегали великана кнутьями; но справедливо ли? Чего не может сделать привычка? Привычка привела почти к тому же и Степана Трофимовича, но еще в более невинном и безобидном виде, если можно так выразиться, потому что прекраснейший был человек.

Я даже так думаю, что под конец его все и везде позабыли; но уже никак ведь нельзя сказать, что и прежде совсем не знали. Бесспорно, что и он некоторое время принадлежал к знаменитой плеяде иных прославленных деятелей нашего прошедшего поколения, и одно время, – впрочем, всего только одну самую маленькую минуточку, – его имя многими тогдашними торопившимися людьми произносилось чуть не наряду с именами Чаадаева, Белинского, Грановского и только что начинавшего тогда за границей Герцена. Но деятельность Степана Трофимовича окончилась почти в ту же минуту, как и началась, – так сказать, от «вихря сошедшихся обстоятельств». И что же? Не только «вихря», но даже и «обстоятельств» совсем потом не оказалось, по крайней мере в этом случае. Я только теперь, на днях, узнал, к величайшему моему удивлению, но зато уже в совершенной достоверности, что Степан Трофимович проживал между нами, в нашей губернии, не только не в ссылке, как принято было у нас думать, но даже и под присмотром никогда не находился. Какова же после этого сила собственного воображения! Он искренно сам верил всю свою жизнь, что в некоторых сферах его постоянно опасаются, что шаги его непрерывно известны и сочтены и что каждый из трех сменившихся у нас в последние двадцать лет губернаторов, въезжая править губернией, уже привозил с собою некоторую особую и хлопотливую о нем мысль, внушенную ему свыше и прежде всего, при сдаче губернии. Уверь кто-нибудь тогда честнейшего Степана Трофимовича неопровер-

жимыми доказательствами, что ему вовсе нечего опасаться, и он бы непременно обиделся. А между тем это был ведь человек умнейший и даровитейший, человек, так сказать, даже науки, хотя, впрочем, в науке... ну, одним словом, в науке он сделал не так много и, кажется, совсем ничего. Но ведь с людьми науки у нас на Руси это сплошь да рядом случается.

Он воротился из-за границы и блеснул в виде лектора на кафедре университета уже в самом конце сороковых годов. Успел же прочесть всего только несколько лекций, и, кажется, об аравитянах; успел тоже защитить блестящую диссертацию о возникавшем было гражданском и ганзеатическом значении немецкого городка Ганау, в эпоху между 1413 и 1428 годами, а вместе с тем и о тех особенных и неясных причинах, почему значение это вовсе не состоялось. Диссертация эта ловко и больно уколола тогдашних славянофилов и разом доставила ему между ними многочисленных и разъяренных врагов. Потом – впрочем, уже после потери кафедры – он успел напечатать (так сказать, в виде отместки и чтоб указать, кого они потеряли) в ежемесячном и прогрессивном журнале, переводившем из Диккенса и проповедовавшем Жорж Занда, начало одного глубочайшего исследования – кажется, о причинах необычайного нравственного благородства каких-то рыцарей в какую-то эпоху или что-то в этом роде. По крайней мере проводилась какая-то высшая и необыкновенно благородная мысль. Говорили потом, что продолжение исследования было поспешно запрещено и что даже прогрессивный журнал пострадал за напечатанную первую половину. Очень могло это быть, потому что чего тогда не было? Но в данном случае вероятнее, что ничего не было и что автор сам поленился докончить исследование. Прекратил же он свои лекции об аравитянах потому, что перехвачено было как-то и кем-то (очевидно, из ретроградных врагов его) письмо к кому-то с изложением каких-то «обстоятельств», вследствие чего кто-то потребовал от него каких-то объяснений. Не знаю, верно ли, но утверждали еще, что в Петербурге было отыскано в то же самое время какое-то громадное, противоестественное и противогосударственное общество, человек в тринадцать, и чуть не потрясшее здание. Говорили, что будто бы они собирались переводить самого Фурье. Как нарочно, в то же самое время в Москве схвачена была и поэма Степана Трофимовича, написанная им еще лет шесть до сего, в Берлине, в самой первой его молодости, и ходившая по рукам, в списках, между двумя любителями и у одного студента. Эта поэма лежит теперь и у меня в столе; я получил ее, не далее как прошлого года, в собственноручном, весьма недавнем списке, от самого Степана Трофимовича, с его надписью и в великолепном красном сафьянном переплете. Впрочем, она не без поэзии и даже не без некоторого таланта; странная, но тогда (то есть, вернее, в тридцатых годах) в этом роде часто пописывали. Рассказать же сюжет затрудняюсь, ибо, по правде, ничего в нем не понимаю. Это какая-то аллегория, в лирико-драматической форме и напоминающая вторую часть «Фауста». Сцена открывается хором женщин, потом хором мужчин, потом каких-то сил, и в конце всего хором душ, еще не живших, но которым очень бы хотелось пожить. Все эти хоры поют о чем-то очень неопределенном, большею частью о чьем-то проклятии, но с оттенком высшего юмора. Но сцена вдруг переменяется, и наступает какой-то «Праздник жизни», на котором поют даже насекомые, является черепаха с какими-то латинскими сакраментальными словами, и даже, если припомню, пропел о чем-то один минерал, то есть предмет уже вовсе неодушевленный. Вообще же все поют непрерывно, а если разговаривают, то как-то неопределенно бранятся, но опять-таки с оттенком высшего значения. Наконец, сцена опять переменяется, и является дикое место, а между утесами бродит один цивилизованный молодой человек, который срывает и сосет какие-то травы, и на вопрос феи: зачем он сосет эти травы? – отвечает, что он, чувствуя в себе избыток жизни, ищет забвения и находит его в соке этих трав; но что главное желание его – поскорее потерять ум (желание, может быть, и излишнее). Затем вдруг въезжает неописанной красоты юноша на черном коне, и за ним следует ужасное множество всех народов. Юноша изображает собою смерть, а все народы ее жаждут. И, наконец, уже в самой последней сцене вдруг появляется Вавилонская башня, и какие-то атлеты ее наконец достраивают

с песней новой надежды, и когда уже достраивают до самого верху, то обладатель, положим хоть Олимпа, убегает в комическом виде, а догадавшееся человечество, завладев его местом, тотчас же начинает новую жизнь с новым проникновением вещей. Ну, вот эту-то поэму и нашли тогда опасною. Я в прошлом году предлагал Степану Трофимовичу ее напечатать, за совершенною ее, в наше время, невинностью, но он отклонил предложение с видимым неудовольствием. Мнение о совершенной невинности ему не понравилось, и я даже приписываю тому некоторую холодность его со мной, продолжавшуюся целых два месяца. И что же? Вдруг, и почти тогда же, как я предлагал напечатать здесь, – печатают нашу поэму *там*, то есть за границей, в одном из революционных сборников, и совершенно без ведома Степана Трофимовича. Он был сначала испуган, бросился к губернатору и написал благороднейшее оправдательное письмо в Петербург, читал мне его два раза, но не отправил, не зная, кому адресовать. Одним словом, волновался целый месяц; но я убежден, что в таинственных изгибах своего сердца был польщен необыкновенно. Он чуть не спал с экземпляром доставленного ему сборника, а днем прятал его под тюфяк и даже не пускал женщину перестилать постель, и хоть ждал каждый день откуда-то какой-то телеграммы, но смотрел свысока. Телеграммы никакой не пришло. Тогда же он и со мной примирился, что и свидетельствует о чрезвычайной доброте его тихого и незлопамятного сердца.

## II

Я ведь не утверждаю, что он совсем нисколько не пострадал; я лишь убедился теперь вполне, что он мог бы продолжать о своих аравитянах сколько ему угодно, дав только нужные объяснения. Но он тогда самбициозничал и с особенною поспешностью распорядился уверить себя раз навсегда, что карьера его разбита на всю его жизнь «вихрем обстоятельств». А если говорить всю правду, то настоящею причиною перемены карьеры было еще прежнее и снова возобновившееся деликатнейшее предложение ему от Варвары Петровны Ставрогинной, супруги генерал-лейтенанта и значительной богачки, принять на себя воспитание и все умственное развитие ее единственного сына, в качестве высшего педагога и друга, не говоря уже о блистательном вознаграждении. Предложение это было сделано ему в первый раз еще в Берлине, и именно в то самое время, когда он в первый раз овдовел. Первою супругой его была одна легкомысленная девица из нашей губернии, на которой он женился в самой первой и еще безрассудной своей молодости, и, кажется, вынес с этою, привлекательною впрочем, особой много горя, за недостатком средств к ее содержанию и, сверх того, по другим, отчасти уже деликатным причинам. Она скончалась в Париже, быв с ним последние три года в разлуке и оставив ему пятилетнего сына, «плод первой, радостной и еще не омраченной любви», как вырвалось раз при мне у грустившего Степана Трофимовича. Птенца еще с самого начала переслали в Россию, где он и воспитывался все время на руках каких-то отдаленных теток, где-то в глуши. Степан Трофимович отклонил тогдашнее предложение Варвары Петровны и быстро женился опять, даже раньше году, на одной неразговорчивой берлинской немочке и, главное, без всякой особенной надобности. Но, кроме этой, оказались и другие причины отказа от места воспитателя: его соблазняла гремевшая в то время слава одного незабвенного профессора, и он, в свою очередь, полетел на кафедру, к которой готовился, чтобы испробовать и свои орлиные крылья. И вот теперь, уже с опаленными крыльями, он, естественно, вспомнил о предложении, которое еще и прежде колебало его решение. Внезапная же смерть и второй супруги, не прожившей с ним и году, устроила все окончательно. Скажу прямо: все разрешилось пламенным участием и драгоценною, так сказать классическою, дружбой к нему Варвары Петровны, если только так можно о дружбе выразиться. Он бросился в объятия этой дружбы, и дело закрепилось с лишком на двадцать лет. Я употребил выражение «бросился в объятия», но, сохрани Бог, кого-нибудь подумать о чем-нибудь лишнем и праздном; эти объятия надо

разуметь в одном лишь самом высоконравственном смысле. Самая тонкая и самая деликатнейшая связь соединила эти два столь замечательные существа навеки.

Место воспитателя было принято еще и потому, что и именице, оставшееся после первой супруги Степана Трофимовича, – очень маленькое, – приходилось совершенно рядом со Скворешниками, великолепным подгородным имением Ставрогиных в нашей губернии. К тому же всегда возможно было, в тиши кабинета и уже не отвлекаясь огромностью университетских занятий, посвятить себя делу науки и обогатить отечественную словесность глубочайшими исследованиями. Исследований не оказалось; но зато оказалось возможным простоять всю остальную жизнь, более двадцати лет, так сказать, «воплощенной укоризной» пред отчизной, по выражению народного поэта:

Воплощенной укоризною

.....

Ты стоял перед отчизною,

Либерал-идеалист.

Но то лицо, о котором выразился народный поэт, может быть, и имело право всю жизнь позировать в этом смысле, если бы того захотело, хотя это и скучно. Наш же Степан Трофимович, по правде, был только подражателем сравнительно с подобными лицами, да и стоять уставал и частенько полеживал на боку. Но хотя и на боку, а воплощенность укоризны сохранялась и в лежачем положении, – надо отдать справедливость, тем более что для губернии было и того достаточно. Посмотрели бы вы на него у нас в клубе, когда он садился за карты. Весь вид его говорил: «Карты! Я сажусь с вами в ералаш! Разве это совместно? Кто ж отвечает за это? Кто разбил мою деятельность и обратил ее в ералаш? Э, погибай Россия!» – и он осанисто козырял с червей.

А по правде, ужасно любил сразиться в карточки, за что, и особенно в последнее время, имел частые и неприятные стычки с Варварой Петровной, тем более что постоянно проигрывал. Но об этом после. Замечу лишь, что это был человек даже совестливый (то есть иногда), а потому часто грустил. В продолжение всей двадцатилетней дружбы с Варварой Петровной он раза по три и по четыре в год регулярно впадал в так называемую между нами «гражданскую скорбь», то есть просто в хандру, но словечко это нравилось многоуважаемой Варваре Петровне. Впоследствии, кроме гражданской скорби, он стал впадать и в шампанское; но чуткая Варвара Петровна всю жизнь охраняла его от всех тривиальных наклонностей. Да он и нуждался в няньке, потому что становился иногда очень странен: в середине самой возвышенной скорби он вдруг зачинал смеяться самым простонароднейшим образом. Находили минуты, что даже о самом себе начинал выражаться в юмористическом смысле. Но ничего так не боялась Варвара Петровна, как юмористического смысла. Это была женщина-классик, женщина-меценатка, действовавшая в видах одних лишь высших соображений. Капитально было двадцатилетнее влияние этой высшей дамы на ее бедного друга. О ней надо бы поговорить особенно, что я и сделаю.

### III

Есть дружбы странные: оба друга один другого почти съесть хотят, всю жизнь так живут, а между тем расстаться не могут. Расстаться даже никак нельзя: раскапризавшийся и разорвавший связь друг первый же заболает и, пожалуй, умрет, если это случится. Я положительно знаю, что Степан Трофимович несколько раз, и иногда после самых интимных излиятий глаз на глаз с Варварой Петровной, по уходе ее вдруг вскакивал с дивана и начинал колотить кулаками в стену.

Происходило это без малейшей аллегии, так даже, что однажды отбил от стены штукатурку. Может быть, спросят: как мог я узнать такую тонкую подробность? А что, если я сам бывал свидетелем? Что, если сам Степан Трофимович неоднократно рыдал на моем плече, в ярких красках рисуя предо мной всю свою подноготную? (И уж чего-чего при этом не говорил!) Но вот что случалось почти всегда после этих рыданий: назавтра он уже готов был распять самого себя за неблагодарность; поспешно призывал меня к себе или прибежал ко мне сам, единственно чтобы возвестить мне, что Варвара Петровна «ангел чести и деликатности, а он совершенно противоположное». Он не только ко мне прибежал, но неоднократно описывал все это ей самой в красноречивейших письмах и признавался ей, за свою полную подпись, что не далее как, например, вчера он рассказывал постороннему лицу, что она держит его из тщеславия, завидует его учености и талантам; ненавидит его и боится только выказать свою ненависть явно, в страхе, чтоб он не ушел от нее и тем не повредил ее литературной репутации; что вследствие этого он себя презирает и решился погибнуть насильственной смертью, а от нее ждет последнего слова, которое все решит, и пр., и пр., все в этом роде. Можно представить после этого, до какой истерики доходили иногда нервные взрывы этого невиннейшего из всех пятидесятилетних младенцев! Я сам однажды читал одно из таких его писем, после какой-то между ними ссоры, из-за ничтожной причины, но ядовитой по выполнению. Я ужаснулся и умолял не посылать письма.

– Нельзя... честнее... долг... я умру, если не признаюсь ей во всем, во всем! – отвечал он чуть не в горячке и послал-таки письмо.

В том-то и была разница между ними, что Варвара Петровна никогда бы не послала такого письма. Правда, он писать любил без памяти, писал к ней, даже живя в одном с нею доме, а в истерических случаях и по два письма в день. Я знаю наверное, что она всегда внимательнейшим образом эти письма прочитывала, даже в случае и двух писем в день, и, прочитав, складывала в особый ящичек, помеченные и рассортированные; кроме того, слагала их в сердце своем. Затем, выдержав своего друга весь день без ответа, встречалась с ним как ни в чем не бывало, будто ровно ничего вчера особенного не случилось. Мало-помалу она так его вымуштровала, что он уже и сам не смел напоминать о вчерашнем, а только заглядывал ей некоторое время в глаза. Но она ничего не забывала, а он забывал иногда слишком уж скоро и, ободренный ее же спокойствием, нередко в тот же день смеялся и школьничал за шампанским, если приходили приятели. С каким, должно быть, ядом она смотрела на него в те минуты, а он ничего-то не примечал! Разве через неделю, через месяц, или даже через полгода, в какую-нибудь особую минуту, нечаянно вспомнив какое-нибудь выражение из такого письма, а затем и все письмо, со всеми обстоятельствами, он вдруг сгорал от стыда и до того, бывало, мучился, что заболел своими припадками холерины. Эти особенные с ним припадки, вроде холерины, бывали в некоторых случаях обыкновенным исходом его нервных потрясений и представляли собою некоторый любопытный в своем роде курьез в его телосложении.

Действительно, Варвара Петровна наверно и весьма часто его ненавидела; но он одного только в ней не приметил до самого конца, того, что стал наконец для нее ее сыном, ее созданием, даже, можно сказать, ее изобретением, стал плотью от плоти ее, и что она держит и содержит его вовсе не из одной только «зависти к его талантам». И как, должно быть, она была оскорбляема такими предположениями! В ней таилась какая-то нестерпимая любовь к нему, среди непрерывной ненависти, ревности и презрения. Она охраняла его от каждой пылинки, нянчилась с ним двадцать два года, не спала бы целых ночей от заботы, если бы дело коснулось до его репутации поэта, ученого, гражданского деятеля. Она его выдумала и в свою выдумку сама же первая и уверовала. Он был нечто вроде какой-то ее мечты... Но она требовала от него за это действительно многого, иногда даже рабства. Злопамятна же была до невероятности. Кстати уж расскажу два анекдота.

## IV

Однажды, еще при первых слухах об освобождении крестьян, когда вся Россия вдруг взликовала и готовилась вся возродиться, посетил Варвару Петровну один проезжий петербургский барон, человек с самыми высокими связями и стоявший весьма близко у дела. Варвара Петровна чрезвычайно ценила подобные посещения, потому что связи ее в обществе высшем, по смерти ее супруга, все более и более ослабевали, под конец и совсем прекратились. Барон просидел у нее час и кушал чай. Никого других не было, но Степана Трофимовича Варвара Петровна пригласила и выставила. Барон о нем кое-что даже слышал и прежде или сделал вид, что слышал, но за чаем мало к нему обращался. Разумеется, Степан Трофимович в грязь себя ударить не мог, да и манеры его были самые изящные. Хотя происхождения он был, кажется, невысокого, но случилось так, что воспитан был с самого малолетства в одном знатном доме в Москве и, стало быть, прилично; по-французски говорил, как парижанин. Таким образом, барон с первого взгляда должен был понять, какими людьми Варвара Петровна окружает себя, хотя бы и в губернском уединении. Вышло, однако, не так. Когда барон подтвердил положительно совершенную достоверность только что разнесшихся тогда первых слухов о великой реформе, Степан Трофимович вдруг не вытерпел и крикнул *ура!* и даже сделал рукой какой-то жест, изображавший восторг. Крикнул он негромко и даже изящно; даже, может быть, восторг был преднамеренный, а жест нарочно заучен пред зеркалом, за полчаса пред чаем; но, должно быть, у него что-нибудь тут не вышло, так что барон позволил себе чуть-чуть улыбнуться, хотя тотчас же необыкновенно вежливо повернул фразу о всеобщем и надлежащем умилении всех русских сердец ввиду великого события. Затем скоро уехал и, уезжая, не забыл протянуть и Степану Трофимовичу два пальца. Возвратясь в гостиную, Варвара Петровна сначала молчала минуты три, что-то как бы отыскивая на столе; но вдруг обернулась к Степану Трофимовичу и, бледная, со сверкающими глазами, процедила шепотом:

– Я вам этого никогда не забуду!

На другой день она встретилась со своим другом как ни в чем не бывало; о случившемся никогда не поминала. Но тринадцать лет спустя, в одну трагическую минуту, припомнила и попрекнула его, и так же точно побледнела, как и тринадцать лет назад, когда в первый раз попрекала. Только два раза во всю свою жизнь сказала она ему: «Я вам этого никогда не забуду!» Случай с бароном был уже второй случай; но и первый случай в свою очередь так характерен и, кажется, так много означал в судьбе Степана Трофимовича, что я решаюсь и о нем упомянуть.

Это было в пятьдесят пятом году, весной, в мае месяце, именно после того как в Скворешниках получилось известие о кончине генерал-лейтенанта Ставрогина, старца легкомысленного, скончавшегося от расстройства в желудке, по дороге в Крым, куда он спешил по назначению в действующую армию. Варвара Петровна осталась вдовой и облеклась в полный траур. Правда, не могла она горевать очень много, ибо в последние четыре года жила с мужем в совершенной разлуке, по несходству характеров, и производила ему пенсией. (У самого генерал-лейтенанта было всего только полтора ста душ и жалованье, кроме того знатность и связи; а все богатство и Скворешники принадлежали Варваре Петровне, единственной дочери одного очень богатого откупщика.) Тем не менее она была потрясена неожиданностью известия и удалась в полное уединение. Разумеется, Степан Трофимович находился при ней безотлучно.

Май был в полном расцвете; вечера стояли удивительные. Зацвела черемуха. Оба друга сходились каждый вечер в саду и просиживали до ночи в беседке, изливая друг пред другом свои чувства и мысли. Минуты бывали поэтические. Варвара Петровна под впечатлением перемены в судьбе своей говорила больше обыкновенного. Она как бы льнула к сердцу своего друга, и так продолжалось несколько вечеров. Одна странная мысль вдруг осенила Степана

Трофимовича: «Не рассчитывает ли неутешная вдова на него и не ждет ли, в конце траурного года, предложения с его стороны?» Мысль циническая; но ведь возвышенность организации даже иногда способствует наклонности к циническим мыслям, уже по одной только многосторонности развития. Он стал вникать и нашел, что походило на то. Он задумался: «Состояние огромное, правда, но...» Действительно, Варвара Петровна не совсем походила на красавицу: это была высокая, желтая, костлявая женщина, с чрезмерно длинным лицом, напоминавшим что-то лошадиное. Все более и более колебался Степан Трофимович, мучился сомнениями, даже всплакнул раза два от нерешимости (плакал он довольно часто). По вечерам же, то есть в беседке, лицо его как-то невольно стало выражать нечто капризное и насмешливое, нечто кокетливое и в то же время высокомерное. Это как-то нечаянно, невольно делается, и даже чем благороднее человек, тем оно и заметнее. Бог знает как тут судить, но вероятнее, что ничего и не начиналось в сердце Варвары Петровны такого, что могло бы оправдать вполне подозрения Степана Трофимовича. Да и не променяла бы она своего имени Ставригиной на его имя, хотя бы и столь славное. Может быть, была всего только одна лишь женственная игра с ее стороны, проявление бессознательной женской потребности, столь натуральной в иных чрезвычайных женских случаях. Впрочем, не поручусь; неисследима глубина женского сердца даже и до сегодня! Но продолжаю.

Надо думать, что она скоро про себя разгадала странное выражение лица своего друга; она была чутка и приглядчива, он же слишком иногда невинен. Но вечера шли по-прежнему, и разговоры были так же поэтичны и интересны. И вот однажды, с наступлением ночи, после самого оживленного и поэтического разговора, они дружески расстались, горячо пожав друг другу руки у крыльца флигеля, в котором квартировал Степан Трофимович. Каждое лето он перебирался в этот флигелек, стоявший почти в саду, из огромного барского дома Скворешников. Только что он вошел к себе и, в хлопотливом раздумье, взяв сигару и еще не успев ее закурить, остановился, усталый, неподвижно пред раскрытым окном, приглядываясь к легким, как пух, белым облачкам, скользившим вокруг ясного месяца, как вдруг легкий шорох заставил его вздрогнуть и обернуться. Пред ним опять стояла Варвара Петровна, которую он оставил всего только четыре минуты назад. Желтое лицо ее почти посинело, губы были сжаты и вздрагивали по краям. Секунд десять полных смотрела она ему в глаза молча, твердым, неумолимым взглядом и вдруг прошептала скороговоркой:

– Я никогда вам этого не забуду!

Когда Степан Трофимович, уже десять лет спустя, передавал мне эту грустную повесть шепотом, заперев сначала двери, то клялся мне, что он до того остолбенел тогда на месте, что не слышал и не видел, как Варвара Петровна исчезла. Так как она никогда ни разу потом не намекала ему на происшедшее и все пошло как ни в чем не бывало, то он всю жизнь наклонен был к мысли, что все это была одна галлюцинация пред болезнью, тем более что в ту же ночь он и вправду заболел на целых две недели, что, кстати, прекратило и свидания в беседке.

Но, несмотря на мечту о галлюцинации, он каждый день, всю свою жизнь, как бы ждал продолжения и, так сказать, развязки этого события. Он не верил, что оно так и кончилось! А если так, то странно же он должен был иногда поглядывать на своего друга.

## V

Она сама сочинила ему даже костюм, в котором он и проходил всю свою жизнь. Костюм был изящен и характерен: длиннополый черный сюртук, почти доверху застегнутый, но щегольски сидевший; мягкая шляпа (летом соломенная) с широкими полями; галстук белый, батистовый, с большим узлом и висячими концами; трость с серебряным набалдашником, при этом волосы до плеч. Он был темно-рус, и волосы его только в последнее время начали немного седеть. Усы и бороду он брил. Говорят, в молодости он был чрезвычайно красив собой.

Но, по-моему, и в старости был необыкновенно внушителен. Да и какая же старость в пятьдесят три года? Но, по некоторому гражданскому кокетству, он не только не молодился, но как бы и щеголял солидностью лет своих, и в костюме своем, высокий, сухощавый, с волосами до плеч, походил как бы на патриарха или, еще вернее, на портрет поэта Кукольника, литографированный в тридцатых годах при каком-то издании, особенно когда сидел летом в саду, на лавке, под кустом расцветшей сирени, опершись обеими руками на трость, с раскрытой книгой подле и поэтически задумавшись над закатом солнца. Насчет книг замечу, что под конец он стал как-то удаляться от чтения. Впрочем, это уж под самый конец. Газеты и журналы, выписываемые Варварой Петровной во множестве, он читал постоянно. Успехами русской литературы тоже постоянно интересовался, хотя и нисколько не теряя своего достоинства. Увлекся было когда-то изучением высшей современной политики наших внутренних и внешних дел, но вскоре, махнув рукой, оставил предприятие. Бывало и то: возьмет с собою в сад Токевиля, а в кармашке несет спрятанного Поль де Кока. Но, впрочем, это пустяки.

Замечу в скобках и о портрете Кукольника: попалась эта картинка Варваре Петровне в первый раз, когда она находилась, еще девочкой, в благородном пансионе в Москве. Она тотчас же влюбилась в портрет, по обыкновению всех девочек в пансионах, влюбляющихся во что ни попало, а вместе и в своих учителей, преимущественно чистописания и рисования. Но любопытны в этом не свойства девочки, а то, что даже и в пятьдесят лет Варвара Петровна сохраняла эту картинку в числе самых интимных своих драгоценностей, так что и Степану Трофимовичу, может быть, только поэтому сочинила несколько похожий на изображенный на картинке костюм. Но и это, конечно, мелочь.

В первые годы, или, точнее, в первую половину пребывания у Варвары Петровны, Степан Трофимович все еще помышлял о каком-то сочинении и каждый день серьезно собирался его писать. Но во вторую половину он, должно быть, и зады позабыл. Все чаще и чаще он говаривал нам: «Кажется, готов к труду, материалы собраны, и вот не работается! Ничего не делается!» – и опускал голову в унынии. Без сомнения, это-то и должно было придать ему еще больше величия в наших глазах, как страдальцу науки; но самому ему хотелось чего-то другого. «Забыли меня, никому я не нужен!» – вырывалось у него не раз. Эта усиленная хандра особенно овладела им в самом конце пятидесятих годов. Варвара Петровна поняла наконец, что дело серьезное. Да и не могла она перенести мысли о том, что друг ее забыт и не нужен. Чтобы развлечь его, а вместе для подновления славы, она свозила его тогда в Москву, где у ней было несколько изящных литературных и ученых знакомств; но оказалось, что и Москва неудовлетворительна.

Тогда было время особенное; наступило что-то новое, очень уж непохожее на прежнюю тишину, и что-то очень уж странное, но везде ощущаемое, даже в Скворешниках. Доходили разные слухи. Факты были вообще известны более или менее, но очевидно было, что кроме фактов явились и какие-то сопровождавшие их идеи, и, главное, в чрезмерном количестве. А это-то и смущало: никак невозможно было применить и в точности узнать, что именно означали эти идеи? Варвара Петровна, вследствие женского устройства природы своей, непременно хотела подразумевать в них секрет. Она принялась было сама читать газеты и журналы, заграничные запрещенные издания и даже начавшиеся тогда прокламации (все это ей доставлялось); но у ней только голова закружилась. Принялась она писать письма: отвечали ей мало, и чем далее, тем непонятнее. Степан Трофимович торжественно приглашен был объяснить ей «все эти идеи» раз навсегда; но объяснениями его она осталась положительно недовольна. Взгляд Степана Трофимовича на всеобщее движение был в высшей степени высокомерный; у него все сводилось на то, что он сам забыт и никому не нужен. Наконец и о нем вспомнили, сначала в заграничных изданиях, как о ссыльном страдальце, и потом тотчас же в Петербурге, как о бывшей звезде в известном созвездии; даже сравнивали его почему-то с Радищевым. Затем кто-то напечатал, что он уже умер, и обещал его некролог. Степан Трофимович мигом воскрес и сильно приосанился. Все высокомерие его взгляда на современников разом соско-

чило, и в нем загорелась мечта: примкнуть к движению и показать свои силы. Варвара Петровна тотчас же вновь и во все уверовала и ужасно засуетилась. Решено было ехать в Петербург без малейшего отлагательства, разузнать все на деле, вникнуть лично и, если возможно, войти в новую деятельность всецело и нераздельно. Между прочим, она объявила, что готова основать свой журнал и посвятить ему отныне всю свою жизнь. Увидав, что дошло даже до этого, Степан Трофимович стал еще высокомернее, в дороге же начал относиться к Варваре Петровне почти покровительственно, что она тотчас же сложила в сердце своем. Впрочем, у ней была и другая весьма важная причина к поездке, именно возобновление высших связей. Надо было по возможности напомнить о себе в свете, по крайней мере попытаться. Гласным же предложением к путешествию было свидание с единственным сыном, оканчивавшим тогда курс наук в петербургском лицее.

## VI

Они съездили и прожили в Петербурге почти весь зимний сезон. Все, однако, к Великому посту лопнуло, как радужный мыльный пузырь. Мечты разлетелись, а сумбур не только не выяснился, но стал еще отвратительнее. Во-первых, высшие связи почти не удались, разве в самом микроскопическом виде и с унижительными натяжками. Оскорбленная Варвара Петровна бросилась было всецело в «новые идеи» и открыла у себя вечера. Она позвала литераторов, и к ней их тотчас же привели во множестве. Потом уже приходили и сами, без приглашения; один приводил другого. Никогда еще она не видывала таких литераторов. Они были тщеславны до невозможности, но совершенно открыто, как бы тем исполняя обязанность. Иные (хотя и далеко не все) являлись даже пьяные, но как бы сознавая в этом особенную, вчера только открытую красоту. Все они чем-то гордились до странности. На всех лицах было написано, что они сейчас только открыли какой-то чрезвычайно важный секрет. Они бранились, вменяя себе это в честь. Довольно трудно было узнать, что именно они написали; но тут были критики, романисты, драматурги, сатирики, обличители. Степан Трофимович проник даже в самый высший их круг, туда, откуда управляли движением. До управляющих было до невероятности высоко, но его они встретили радушно, хотя, конечно, никто из них ничего о нем не знал и не слыхивал кроме того, что он «представляет идею». Он до того маневрировал около них, что и их зазвал раза два в салон Варвары Петровны, несмотря на все их олимпийство. Эти были очень серьезны и очень вежливы; держали себя хорошо; остальные видимо их боялись; но очевидно было, что им некогда. Явились и две-три прежние литературные знаменитости, случившиеся тогда в Петербурге и с которыми Варвара Петровна давно уже поддерживала самые изящные отношения. Но, к удивлению ее, эти действительные и уже несомненные знаменитости были тише воды, ниже травы, а иные из них просто льнули ко всему этому новому сброду и позорно у него заискивали. Сначала Степану Трофимовичу повезло; за него ухватились и стали его выставлять на публичных литературных собраниях. Когда он вышел в первый раз на эстраду, в одном из публичных литературных чтений, в числе читавших, раздались неистовые рукоплескания, не умолкавшие минут пять. Он со слезами вспоминал об этом девять лет спустя, – впрочем, скорее по художественности своей природы, чем из благодарности. «Клянусь же вам и пари держу, – говорил он мне сам (но только мне и по секрету), – что никто из этой публики знать не знал о мне ровнешенько ничего!» Признание замечательное: стало быть, был же в нем острый ум, если он тогда же, на эстраде, мог так ясно понять свое положение, несмотря на все свое упоение; и, стало быть, не было в нем острого ума, если он даже девять лет спустя не мог вспомнить о том без ощущения обиды. Его заставили подписаться под двумя или тремя коллективными протестами (против чего – он и сам не знал); он подписался. Варвару Петровну тоже заставили подписаться под каким-то «безобразным поступком», и та подписалась. Впрочем, большинство этих новых людей хоть и посещали Варвару

Петровну, но считали себя почему-то обязанными смотреть на нее с презрением и с нескрываемой насмешкой. Степан Трофимович намекал мне потом, в горькие минуты, что она с тех пор ему и позавидовала. Она, конечно, понимала, что ей нельзя водиться с этими людьми, но все-таки принимала их с жадностью, со всем женским истерическим нетерпением и, главное, все чего-то ждала. На вечерах она говорила мало, хотя и могла бы говорить; но она больше вслушивалась. Говорили об уничтожении цензуры и буквы *ѣ*, о замене русских букв латинскими, о вчерашней ссылке такого-то, о каком-то скандале в Пассаже, о полезности раздробления России по народностям с вольною федеративною связью, об уничтожении армии и флота, о восстановлении Польши по Днепр, о крестьянской реформе и прокламациях, об уничтожении наследства, семейства, детей и священников, о правах женщины, о доме Краевского, которого никто и никогда не мог простить господину Краевскому, и пр., и пр. Ясно было, что в этом сброде новых людей много мошенников, но несомненно было, что много и честных, весьма даже привлекательных лиц, несмотря на некоторые все-таки удивительные оттенки. Честные были гораздо непонятнее бесчестных и грубых; но неизвестно было, кто у кого в руках. Когда Варвара Петровна объявила свою мысль об издании журнала, то к ней хлынуло еще больше народу, но тотчас же посыпались в глаза обвинения, что она капиталистка и эксплуатирует труд. Бесцеремонность обвинений равнялась только их неожиданности. Престарелый генерал Иван Иванович Дроздов, прежний друг и сослуживец покойного генерала Ставрогина, человек достойнейший (но в своем роде) и которого все мы здесь знаем, до крайности строптивый и раздражительный, ужасно много евший и ужасно боявшийся атеизма, заспорил на одном из вечеров Варвары Петровны с одним знаменитым юношей. Тот ему первым словом: «Вы, стало быть, генерал, если так говорите», то есть в том смысле, что уже хуже генерала он и брани не мог найти. Иван Иванович вспылал чрезвычайно: «Да, сударь, я генерал, и генерал-лейтенант, и служил государю моему, а ты, сударь, мальчишка и безбожник!» Произошел скандал непопозволенный. На другой день случай был обличен в печати, и начала собираться коллективная подписка против «безобразного поступка» Варвары Петровны, не захотевшей тотчас же прогнать генерала. В иллюстрированном журнале явилась карикатура, в которой язвительно скопировали Варвару Петровну, генерала и Степана Трофимовича на одной картинке, в виде трех ретроградных друзей; к картинке приложены были и стихи, написанные народным поэтом единственно для этого случая. Замечу от себя, что действительно у многих особ в генеральских чинах есть привычка смешно говорить: «Я служил государю моему...», то есть точно у них не тот же государь, как и у нас, простых государевых подданных, а особенный, ихний.

Оставаться долее в Петербурге было, разумеется, невозможно, тем более что и Степана Трофимовича постигло окончательное *fiasco*<sup>12</sup>. Он не выдержал и стал заявлять о правах искусства, а над ним стали еще громче смеяться. На последнем чтении своем он задумал подействовать гражданским красноречием, воображая тронуть сердца и рассчитывая на почтение к своему «изгнанию». Он бесспорно согласился в бесполезности и комичности слова «отечество»; согласился и с мыслию о вреде религии, но громко и твердо заявил, что сапоги ниже Пушкина, и даже гораздо. Его безжалостно освистали, так что он тут же, публично, не сойдя с эстрады, расплакался. Варвара Петровна привезла его домой едва живого. «On m'a traité comme un vieux bonnet de coton!»<sup>13</sup> – лепетал он бессмысленно. Она ходила за ним всю ночь, давала ему лавровишневых капель и до рассвета повторяла ему: «Вы еще полезны; вы еще явитесь; вас оценят... в другом месте».

На другой же день, рано утром, явились к Варваре Петровне пять литераторов, из них трое совсем незнакомых, которых она никогда и не видывала. Со строгим видом они объявили ей, что рассмотрели дело о ее журнале и принесли по этому делу решение. Варвара Петровна

<sup>12</sup> поражение (*ит.*).

<sup>13</sup> Со мной обошлись как со старым ночным колпаком! (*фр.*)

решительно никогда и никому не поручала рассматривать и решать что-нибудь о ее журнале. Решение состояло в том, чтоб она, основав журнал, тотчас же передала его им вместе с капиталами, на правах свободной ассоциации; сама же чтоб уезжала в Скворешники, не забыв захватить с собою Степана Трофимовича, «который устарел». Из деликатности они соглашались признавать за нею права собственности и высылать ей ежегодно одну шестую чистого барыша. Всего трогательнее было то, что из этих пяти человек наверное четверо не имели при этом никакой стяжательной цели, а хлопотали только во имя «общего дела».

«Мы выехали как одурелые, – рассказывал Степан Трофимович, – я ничего не мог сообразить и, помню, все лепетал под стук вагона:

Век и Век и Лев Камбек,  
Лев Камбек и Век и Век...

и черт знает что еще такое, вплоть до самой Москвы. Только в Москве опомнился – как будто и в самом деле что-нибудь другое в ней мог найти? О друзья мои! – иногда восклицал он нам во вдохновении, – вы представить не можете, какая грусть и злость охватывает всю вашу душу, когда великую идею, вами давно уже и свято чтимую, подхватят неумелые и вытащат к таким же дуракам, как и сами, на улицу, и вы вдруг встречаете ее уже на толкучем, неузнаваемую, в грязи, поставленную нелепо, углом, без пропорции, без гармонии, игрушкой у глупых ребят! Нет! В наше время было не так, и мы не к тому стремились. Нет, нет, совсем не к тому. Я не узнаю ничего... Наше время настанет опять и опять направит на твердый путь все шатающееся, теперешнее. Иначе что же будет?..»

## VII

Тотчас же по возвращении из Петербурга Варвара Петровна отправила друга своего за границу: «отдохнуть»; да и надо было им расстаться на время, она это чувствовала. Степан Трофимович поехал с восторгом. «Там я воскресну! – восклицал он. – Там наконец примусь за науку!» Но с первых же писем из Берлина он затянул свою всегдашнюю ноту. «Сердце разбито, – писал он Варваре Петровне, – не могу забыть ничего! Здесь, в Берлине, все напомнило мне мое старое, прошлое, первые восторги и первые муки. Где она? Где теперь они обе? Где вы, два ангела, которых я никогда не стоил? Где сын мой, возлюбленный сын мой? Где, наконец, я, я сам, прежний я, стальной по силе и непоколебимый, как утес, когда теперь какой-нибудь Andrejeff, un православный шут с бородой, *peut briser mon existence en deux*<sup>14</sup>» и т. д., и т. д. Что касается до сына Степана Трофимовича, то он видел его всего два раза в своей жизни, в первый раз, когда тот родился, и во второй – недавно в Петербурге, где молодой человек готовился поступить в университет. Всю же свою жизнь мальчик, как уже и сказано было, воспитывался у теток в О-ской губернии (на иждивении Варвары Петровны), за семьсот верст от Скворешников. Что же касается до Andrejeff, то есть Андреева, то это был просто-запросто наш здешний купец, лавочник, большой чудак, археолог-самоучка, страстный собиратель русских древностей, иногда пикировавшийся со Степаном Трофимовичем познаниями, а главное, в направлении. Этот почтенный купец, с седой бородой и в больших серебряных очках, не доплатил Степану Трофимовичу четырехсот рублей за купленные в его именице (рядом со Скворешниками) несколько десятин лесу на сруб. Хотя Варвара Петровна и роскошно наделила своего друга средствами, отправляя его в Берлин, но на эти четыреста рублей Степан Трофимович, пред поездкой, особо рассчитывал, вероятно на секретные свои расходы, и чуть не заплакал, когда Andrejeff попросил повременить один месяц, имея, впрочем,

<sup>14</sup> может разбить мою жизнь (*фр.*).

и право на такую отсрочку, ибо первые взносы денег произвел все вперед чуть не за полгода, по особенной тогдашней нужде Степана Трофимовича. Варвара Петровна с жадностью прочла это первое письмо и, подчеркнув карандашом восклицание: «Где вы обе?», пометила числом и заперла в шкапулку. Он, конечно, вспоминал о своих обеих покойницах женах. Во втором полученном из Берлина письме песня варьировалась: «Работаю по двенадцати часов в сутки ("хоть бы по одиннадцати", – проворчала Варвара Петровна), роюсь в библиотеках, сверяюсь, выписываю, бегаю; был у профессоров. Возобновил знакомство с превосходным семейством Дундасовых. Какая прелесть Надежда Николаевна даже до сих пор! Вам кланяется. Молодой ее муж и все три племянника в Берлине. По вечерам с молодежью беседуем до рассвета, и у нас чуть не афинские вечера, но единственно по тонкости и изяществу; все благородное: много музыки, испанские мотивы, мечты всечеловеческого обновления, идея вечной красоты, Сикстинская Мадонна, свет с прорезами тьмы, но и в солнце пятна! О друг мой, благородный, верный друг! Я сердцем с вами и ваш, с одной всегда, *en tout pays*<sup>15</sup> и хотя бы даже *dans le pays de Makar et de ses veaux*<sup>16</sup>, о котором, помните, так часто мы, трепеща, говорили в Петербурге пред отъездом. Вспоминаю с улыбкой. Переехав границу, ощутил себя безопасным, ощущение странное, новое, впервые после столь долгих лет...» и т. д., и т. д.

«Ну, все вздор! – решила Варвара Петровна, складывая и это письмо. – Коль до рассвета афинские вечера, так не сидит же по двенадцати часов за книгами. Спяну, что ль, написал? Эта Дундасова как смеет мне посылать поклоны? Впрочем, пусть его погуляет...»

Фраза «*dans le pays de Makar et de ses veaux*» означала: «куда Макара телят не гонял». Степан Трофимович нарочно глупейшим образом переводил иногда русские пословицы и коренные поговорки на французский язык, без сомнения умея и понять и перевести лучше; но это он дельвал из особого рода шику и находил его остроумным.

Но погулял он немного, четырех месяцев не выдержал и примчался в Скворешники. Последние письма его состояли из одних лишь излиятий самой чувствительной любви к своему отсутствующему другу и буквально были смочены слезами разлуки. Есть натуры, чрезвычайно приживающиеся к дому, точно комнатные собачки. Свидание друзей было восторженное. Через два дня все пошло по-старому и даже скучнее старого. «Друг мой, – говорил мне Степан Трофимович через две недели, под величайшим секретом, – друг мой, я открыл ужасную для меня... новость: *je suis un простой приживальщик, et rien de plus! Mais r-r-rien de plus!*»<sup>17</sup>

## VIII

Затем у нас наступило затишье и тянулось почти сплошь все эти девять лет. Истерические взрывы и рыдания на моем плече, продолжавшиеся регулярно, нисколько не мешали нашему благоденствию. Удивляюсь, как Степан Трофимович не растолстел за это время. Покраснел лишь немного его нос и прибавилось благодушия. Мало-помалу около него утвердился кружок приятелей, впрочем постоянно небольшой. Варвара Петровна хоть и мало касалась кружка, но все мы признавали ее нашею патронессой. После петербургского урока она поселилась в нашем городе окончательно; зимой жила в городском своем доме, а летом в подгородном своем имении. Никогда она не имела столько значения и влияния, как в последние семь лет, в нашем губернском обществе, то есть вплоть до назначения к нам нашего теперешнего губернатора. Прежний губернатор наш, незабвенный и мягкий Иван Осипович, приходился ей близким родственником и был когда-то ею облагодетельствован. Супруга его трепетала

<sup>15</sup> в любой стране (*фр.*).

<sup>16</sup> в стране Макара и его телят (*фр.*).

<sup>17</sup> я всего лишь простой приживальщик, и ничего больше! Да, н-н-ничего больше! (*фр.*)

при одной мысли не угодить Варваре Петровне, а поклонение губернского общества дошло до того, что напоминало даже нечто греховное. Было, стало быть, хорошо и Степану Трофимовичу. Он был членом клуба, осанисто проигрывал и заслужил почет, хотя многие смотрели на него только как на «ученого». Впоследствии, когда Варвара Петровна позволила ему жить в другом доме, нам стало еще свободнее. Мы собирались у него раза по два в неделю; бывало весело, особенно когда он не жалел шампанского. Вино забиралось в лавке того же Андрея. Расплачивалась по счету Варвара Петровна каждые полгода, и день расплаты почти всегда бывал днем холерины.

Стариннейшим членом кружка был Липутин, губернский чиновник, человек уже немолодой, большой либерал и в городе слывший атеистом. Женат он был во второй раз на молоденькой и хорошенькой, взял за ней приданое и, кроме того, имел трех подросших дочерей. Всю семью держал в страхе Божиим и взаперти, был чрезмерно скуп и службой скопил себе домик и капитал. Человек был беспокойный, притом в маленьком чине; в городе его мало уважали, а в высшем круге не принимали. К тому же он был явный и не раз уже наказанный сплетник, и наказанный больно, раз одним офицером, а в другой раз почтенным отцом семейства, помещиком. Но мы любили его острый ум, любознательность, его особенную злую веселость. Варвара Петровна не любила его, но он всегда как-то умел к ней подделаться.

Не любила она и Шатова, всего только в последний год ставшего членом кружка. Шатов был прежде студентом и был исключен после одной студентской истории из университета; в детстве же был учеником Степана Трофимовича, а родился крепостным Варвары Петровны, от покойного камердинера ее Павла Федорова, и был ею облагодетельствован. Не любила она его за гордость и неблагодарность и никак не могла простить ему, что он по изгнании из университета не приехал к ней тотчас же; напротив, даже на тогдашнее нарочное письмо ее к нему ничего не ответил и предпочел закабалиться к какому-то цивилизованному купцу учить детей. Вместе с семьей этого купца он выехал за границу, скорее в качестве дядьки, чем гувернера; но уж очень хотелось ему тогда за границу. При детях находилась еще и гувернантка, бойкая русская барышня, поступившая в дом тоже пред самым выездом и принятая более за дешевизну. Месяца через два купец ее выгнал «за вольные мысли». Поплелся за нею и Шатов и вскорости обвенчался с нею в Женеве. Прожили они вдвоем недели с три, а потом расстались, как вольные и ничем не связанные люди; конечно, тоже и по бедности. Долго потом скитался он один по Европе, жил Бог знает чем; говорят, чистил на улицах сапоги и в каком-то порте был носильщиком. Наконец, с год тому назад вернулся к нам в родное гнездо и поселился со старухой теткой, которую и схоронил через месяц. С сестрой своею Дашей, тоже воспитанницей Варвары Петровны, жившею у ней фавориткой на самой благородной ноге, он имел самые редкие и отдаленные сношения. Между нами был постоянно угрюм и неразговорчив; но изредка, когда затрогивали его убеждения, раздражался болезненно и был очень невоздержан на язык. «Шатова надо сначала связать, а потом уж с ним рассуждать», – шутил иногда Степан Трофимович; но он любил его. За границей Шатов радикально изменил некоторые из прежних социалистических своих убеждений и перескочил в противоположную крайность. Это было одно из тех идеальных русских существ, которых вдруг поразит какая-нибудь сильная идея и тут же разом точно придавит их собою, иногда даже навеки. Справиться с нею они никогда не в силах, а уверуют страстно, и вот вся жизнь их проходит потом как бы в последних корчах под свалившимся на них и наполовину совсем уже раздавившим их камнем. Наружностью Шатов вполне соответствовал своим убеждениям: он был неуклюж, белокур, космат, низкого роста, с широкими плечами, толстыми губами, с очень густыми, нависшими белобрысыми бровями, с нахмуренным лбом, с неприветливым, упорно потупленным и как бы чего-то стыдящимся взглядом. На волосах его вечно оставался один такой вихор, который ни за что не хотел пригладиться и стоял торчком. Лет ему было двадцать семь или двадцать восемь. «Я не удивляюсь более, что жена от него сбежала», – отнеслась Варвара Петровна однажды,

пристально к нему приглядевшись. Старался он одеваться чистенько, несмотря на чрезвычайную свою бедность. К Варваре Петровне опять не обратился за помощью, а пробивался чем Бог пошлет; занимался и у купцов. Раз сидел в лавке, потом совсем было уехал на пароходе с товаром, приказчиным помощником, но заболел перед самой отправкой. Трудно представить себе, какую нищету способен он был переносить, даже и не думая о ней вовсе. Варвара Петровна после его болезни переслала ему секретно и анонимно сто рублей. Он разузнал, однако же, секрет, подумал, деньги принял и пришел к Варваре Петровне поблагодарить. Та с жаром приняла его, но он и тут постыдно обманул ее ожидания: просидел всего пять минут, молча, тупо уставившись в землю и глупо улыбаясь, и вдруг, не дослушав ее и на самом интересном месте разговора, встал, поклонился как-то боком, косолапо, застыдился в прах, кстати уж задел и грохнул об пол ее дорогой наборный рабочий столик, разбил его и вышел, едва живой от позора. Липутин очень укорял его потом за то, что он не отвергнул тогда с презрением эти сто рублей, как от бывшей его деспотки помещицы, и не только принял, а еще благодарить потащился. Жил он уединенно, на краю города, и не любил, если кто-нибудь даже из нас заходил к нему. На вечера к Степану Трофимовичу являлся постоянно и брал у него читать газеты и книги.

Являлся на вечера и еще один молодой человек, некто Виргинский, здешний чиновник, имевший некоторое сходство с Шатовым, хотя, по-видимому, и совершенно противоположный ему во всех отношениях; но это тоже был «семьянин». Жалкий и чрезвычайно тихий молодой человек, впрочем лет уже тридцати, с значительным образованием, но больше самоучка. Он был беден, женат, служил и содержал тетку и сестру своей жены. Супруга его да и все дамы были самых последних убеждений, но все это выходило у них несколько грубовато, именно – тут была «идея, попавшая на улицу», как выразился когда-то Степан Трофимович по другому поводу. Они всё брали из книжек и, по первому даже слуху из столичных прогрессивных уголков наших, готовы были выбросить за окно все что угодно, лишь бы только советовали выбрасывать. Madame Виргинская занималась у нас в городе повивальной профессией; в девицах она долго жила в Петербурге. Сам Виргинский был человек редкой чистоты сердца, и редко я встречал более честный душевный огонь. «Я никогда, никогда не отстану от этих светлых надежд», – говаривал он мне с сияющими глазами. О «светлых надеждах» он говорил всегда тихо, с сладостью, полупшепотом, как бы секретно. Он был довольно высокого роста, но чрезвычайно тонок и узок в плечах, с необыкновенно жиденькими, рыжеватого оттенка волосиками. Все высокомерные насмешки Степана Трофимовича над некоторыми из его мнений он принимал кротко, возражал же ему иногда очень серьезно и во многом ставил его в тупик. Степан Трофимович обращался с ним ласково, да и вообще ко всем нам относился отечески.

– Все вы из «недосиженных», – шутливо замечал он Виргинскому, – все подобные вам, хотя в вас, Виргинский, я и не замечал той огра-ни-чен-ности, какую встречал в Петербурге chez ces séminaristes<sup>18</sup>, но все-таки вы «недосиженные». Шатову очень хотелось бы высидеться, но и он недосиженный.

– А я? – спрашивал Липутин.

– А вы просто золотая середина, которая везде уживется... по-своему.

Липутин обижался.

Рассказывали про Виргинского, и, к сожалению, весьма достоверно, что супруга его, не пробыв с ним и году в законном браке, вдруг объявила ему, что он отставлен и что она предпочитает Лебядкина. Этот Лебядкин, какой-то заезжий, оказался потом лицом весьма подозрительным и вовсе даже не был отставным штабс-капитаном, как сам титуловал себя. Он только умел крутить усы, пить и болтать самый неловкий вздор, какой только можно вообразить себе. Этот человек пренеделикатно тотчас же к ним переехал, обрадовавшись чужому хлебу, ел и спал у них и стал, наконец, третировать хозяина свысока. Уверяли, что Виргинский,

<sup>18</sup> у этих семинаристов (фр.).

при объявлении ему женой отставки, сказал ей: «Друг мой, до сих пор я только любил тебя, теперь уважаю», но вряд ли в самом деле произнесено было такое древнеримское изречение; напротив, говорят, навзрыд плакал. Однажды, недели две после отставки, все они, всем «семейством», отправились за город, в рошу, кушать чай вместе с знакомыми. Виргинский был как-то лихорадочно-весело настроен и участвовал в танцах; но вдруг и без всякой предварительной ссоры схватил гиганта Лебядкина, канканировавшего соло, обеими руками за волосы, нагнул и начал таскать его с визгами, криками и слезами. Гигант до того струсил, что даже не защищался и все время, как его таскали, почти не прерывал молчания; но после таски обиделся со всем пылом благородного человека. Виргинский всю ночь на коленях умолял жену о прощении; но прощения не вымолил, потому что все-таки не согласился пойти извиниться перед Лебядкиным; кроме того, был обличен в скудости убеждений и в глупости; последнее потому, что, объясняясь с женщиной, стоял на коленях. Штабс-капитан вскоре скрылся и явился опять в нашем городе только в самое последнее время, с своею сестрой и с новыми целями; но о нем впереди. Не мудрено, что бедный «семьянин» отводил у нас душу и нуждался в нашем обществе. О домашних делах своих он никогда, впрочем, у нас не высказывался. Однажды только, возвращаясь со мною от Степана Трофимовича, заговорил было отдаленно о своем положении, но тут же, схватив меня за руку, пламенно воскликнул:

– Это ничего; это только частный случай; это нисколько, нисколько не помешает «общему делу»!

Являлись к нам в кружок и случайные гости; ходил жидок Лямшин, ходил капитан Картузов. Бывал некоторое время один любознательный старичок, но помер. Привел было Липутин ссыльного ксендза Слоныцевского, и некоторое время его принимали по принципу, но потом и принимать не стали.

## IX

Одно время в городе передавали о нас, что кружок наш рассадник вольнодумства, разврата и безбожия; да и всегда крепился этот слух. А между тем у нас была одна самая невинная, милая, вполне русская веселенькая либеральная болтовня. «Высший либерализм» и «высший либерал», то есть либерал без всякой цели, возможны только в одной России. Степану Трофимовичу, как и всякому остроумному человеку, необходим был слушатель, и, кроме того, необходимо было сознание о том, что он исполняет высший долг пропаганды идей. А наконец, надобно же было с кем-нибудь выпить шампанского и обменяться за вином известных сортов веселенькими мыслями о России и «русском духе», о Боге вообще и о «русском Боге» в особенности; повторить в сотый раз всем известные и всеми натверженные русские скандальные анекдоты. Не прочь мы были и от городских сплетен, причем доходили иногда до строгих высоконравственных приговоров. Впадали и в общечеловеческое, строго рассуждали о будущей судьбе Европы и человечества; докторально предсказывали, что Франция после цезаризма разом ниспадет на степень второстепенного государства, и совершенно были уверены, что это ужасно скоро и легко может сделаться. Папе давным-давно предсказали мы роль простого митрополита в объединенной Италии и были совершенно убеждены, что весь этот тысячелетний вопрос, в наш век гуманности, промышленности и железных дорог, одно только плевое дело. Но ведь «высший русский либерализм» иначе и не относится к делу. Степан Трофимович говаривал иногда об искусстве, и весьма хорошо, но несколько отвлеченно. Вспоминал иногда о друзьях своей молодости, – все о лицах, намеченных в истории нашего развития, – вспоминал с умилением и благоговением, но несколько как бы с завистью. Если уж очень становилось скучно, то жидок Лямшин (маленький почтамтский чиновник), мастер на фортепиано, садился играть, а в антрактах представлял свинью, грозу, роды с первым криком ребенка и пр., и пр.; для того только и приглашался. Если уж очень подпивали, – а это случалось, хотя и не

часто, – то приходили в восторг, и даже раз хором, под аккомпанемент Лямшина, пропели «Марсельезу», только не знаю, хорошо ли вышло. Великий день девятнадцатого февраля мы встретили восторженно и задолго еще начали осушать в честь его тосты. Это было еще давно-давно, тогда еще не было ни Шатова, ни Виргинского, и Степан Трофимович еще жил в одном доме с Варварой Петровной. За несколько времени до великого дня Степан Трофимович повел себя было бормотать про себя известные, хотя несколько неестественные стихи, должно быть сочиненные каким-нибудь прежним либеральным помещиком:

Идут мужики и несут топоры,  
Что-то страшное будет.

Кажется, что-то в этом роде, буквально не помню. Варвара Петровна раз подслушала и крикнула ему: «Вздор, вздор!» – и вышла во гнев. Липутин, при этом случившийся, язвительно заметил Степану Трофимовичу:

– А жаль, если господам помещикам бывшие их крепостные и в самом деле нанесут на радостях некоторую неприятность.

И он черкнул указательным пальцем вокруг своей шеи.

– *Cher ami*<sup>19</sup>, – благодушно заметил ему Степан Трофимович, – поверьте, что *это* (он повторил жест вокруг шеи) нисколько не принесет пользы ни нашим помещикам, ни всем нам вообще. Мы и без голов ничего не сумеем устроить, несмотря на то что наши головы всего более и мешают нам понимать.

Замечу, что у нас многие полагали, что в день манифеста будет нечто необычайное, в том роде, как предсказывал Липутин, и всё ведь так называемые знатоки народа и государства. Кажется, и Степан Трофимович разделял эти мысли, и до того даже, что почти накануне великого дня стал вдруг проситься у Варвары Петровны за границу; одним словом, стал беспокоиться. Но прошел великий день, прошло и еще некоторое время, и высокомерная улыбка появилась опять на устах Степана Трофимовича. Он высказал пред нами несколько замечательных мыслей о характере русского человека вообще и русского мужичка в особенности.

– Мы, как торопливые люди, слишком поспешили с нашими мужичками, – заключил он свой ряд замечательных мыслей, – мы их ввели в моду, и целый отдел литературы, несколько лет сряду, носился с ними как с новооткрытою драгоценностью. Мы надевали лавровые венки на вшивые головы. Русская деревня, за всю тысячу лет, дала нам лишь одного комаринского. Замечательный русский поэт, не лишенный притом остроумия, увидев в первый раз на сцене великую Рашель, воскликнул в восторге: «Не променяю Рашель на мужика!» Я готов пойти дальше: я и всех русских мужичков отдам в обмен за одну Рашель. Пора взглянуть трезвее и не смешивать нашего родного сиволапого дегтя с *bouquet de l'impératrice*<sup>20</sup>.

Липутин тотчас же согласился, но заметил, что покривить душой и похвалить мужичков все-таки было тогда необходимо для направления; что даже дамы высшего общества заливались слезами, читая «Антон Горемыку», а некоторые из них так даже из Парижа написали в Россию своим управляющим, чтоб от сей поры обращаться с крестьянами как можно гуманнее.

Случилось, и как нарочно сейчас после слухов об Антоне Петрове, что и в нашей губернии, и всего-то в пятнадцати верстах от Скворешников, произошло некоторое недоразумение, так что сгоряча послали команду. В этот раз Степан Трофимович до того взволновался, что даже и нас напугал. Он кричал в клубе, что войска надо больше, чтобы призвали из другого

---

<sup>19</sup> Дорогой друг (*фр.*).

<sup>20</sup> «букетом императрицы» (*фр.*).

уезда по телеграфу; бегал к губернатору и уверял его, что он тут ни при чем; просил, чтобы не замешали его как-нибудь, по старой памяти, в дело, и предлагал немедленно написать о его заявлении в Петербург, кому следует. Хорошо, что все это скоро прошло и разрешилось ничем; но только я подивился тогда на Степана Трофимовича.

Года через три, как известно, заговорили о национальности и зародилось «общественное мнение». Степан Трофимович очень смеялся.

– Друзья мои, – учил он нас, – наша национальность, если и в самом деле «зародилась», как они там теперь уверяют в газетах, – то сидит еще в школе, в немецкой какой-нибудь петершуде, за немецкою книжкой и твердит свой вечный немецкий урок, а немец-учитель ставит ее на колени, когда понадобится. За учителя-немца хвалю; но вероятнее всего, что ничего не случилось и ничего такого не зародилось, а идет все как прежде шло, то есть под покровительством Божиим. По-моему, и довольно бы для России, pour notre sainte Russie<sup>21</sup>. Притом же все эти всеславянства и национальности – все это слишком старо, чтобы быть новым. Национальность, если хотите, никогда и не являлась у нас иначе как в виде клубной барской затеи, и вдобавок еще московской. Я, разумеется, не про Игоревое время говорю. И, наконец, все от праздности. У нас все от праздности, и доброе и хорошее. Всё от нашей барской, милой, образованной, прихотливой праздности! Я тридцать тысяч лет про это твержу. Мы своим трудом жить не умеем. И что они там развозились теперь с каким-то «зародившимся» у нас общественным мнением, – так вдруг, ни с того ни с сего, с неба соскочило? Неужто не понимают, что для приобретения мнения первее всего надобен труд, собственный труд, собственный почин в деле, собственная практика! Даром никогда ничего не достанется. Будем трудиться, будем и свое мнение иметь. А так как мы никогда не будем трудиться, то и мнение иметь за нас будут те, кто вместо нас до сих пор работал, то есть все та же Европа, всё те же немцы – двухсотлетние учителя наши. К тому же Россия есть слишком великое недоразумение, чтобы нам одним его разрешить, без немцев и без труда. Вот уже двадцать лет, как я бью в набат и зову к труду! Я отдал жизнь на этот призыв и, безумец, веровал! Теперь уже не верую, но звоню и буду звонить до конца, до могилы; буду дергать веревку, пока не зазвонят к моей панихиде!

Увы! мы только поддакивали. Мы аплодировали учителю нашему, да с каким еще жаром! А что, господа, не раздастся ли и теперь, подчас сплошь да рядом, такого же «милого», «умного», «либерального» старого русского вздора?

В Бога учитель наш веровал. «Не понимаю, почему меня все здесь выставляют безбожником? – говаривал он иногда, – я в Бога верую, mais distinguons<sup>22</sup>, я верую, как в существо, себя лишь во мне сознающее. Не могу же я веровать, как моя Настасья (служанка) или как какой-нибудь барин, верующий "на всякий случай", – или как наш милый Шатов, – впрочем, нет, Шатов не в счет, Шатов верует *насилъно*, как московский славянофил. Что же касается до христианства, то, при всем моем искреннем к нему уважении, я – не христианин. Я скорее древний язычник, как великий Гете или как древний грек. И одно уже то, что христианство не поняло женщину, – что так великолепно развила Жорж Занд в одном из своих гениальных романов. Насчет же поклонений, постов и всего прочего, то не понимаю, кому какое до меня дело? Как бы ни хлопотали здесь наши доносчики, а иезуитом я быть не желаю. В сорок седьмом году Белинский, будучи за границей, послал к Гоголю известное свое письмо и в нем горячо укорял того, что тот верует "в какого-то Бога". Entre nous soit dit<sup>23</sup>, ничего не могу вообразить себе комичнее того мгновения, когда Гоголь (тогдашний Гоголь!) прочел это выражение и... все письмо! Но, откинув смешное, и так как я все-таки с сущностью дела согласен, то скажу и укажу: вот были люди! Сумели же они любить свой народ, сумели же пострадать

<sup>21</sup> для нашей святой Руси (фр.).

<sup>22</sup> но надо различать (фр.).

<sup>23</sup> Между нами говоря (фр.).

за него, сумели же пожертвовать для него всем и сумели же в то же время не сходиться с ним, когда надо, не потворствовать ему в известных понятиях. Не мог же в самом деле Белинский искать спасения в постном масле или в редьке с горохом!..»

Но тут вступался Шатов.

– Никогда эти ваши люди не любили народа, не страдали за него и ничем для него не пожертвовали, как бы ни воображали это сами, себе в утеху! – угрюмо проворчал он, потупившись и нетерпеливо повернувшись на стуле.

– Это они-то не любили народа! – завопил Степан Трофимович. – О, как они любили Россию!

– Ни России, ни народа! – завопил и Шатов, сверкая глазами. – Нельзя любить то, чего не знаешь, а они ничего в русском народе не смыслили! Все они, и вы вместе с ними, просмотрели русский народ сквозь пальцы, а Белинский особенно; уж из того самого письма его к Гоголю это видно. Белинский, точь-в-точь как Крылова Любопытный, не заметил слона в кунсткамере, а все внимание свое устремил на французских социальных букашек; так и покончил на них. А ведь он еще, пожалуй, всех вас умнее был! Вы мало того что просмотрели народ, – вы с омерзительным презрением к нему относились, уж по тому одному, что под народом вы воображали себе один только французский народ, да и то одних парижан, и стыдились, что русский народ не таков. И это голая правда! А у кого нет народа, у того нет и Бога! Знайте наверно, что все те, которые перестают понимать свой народ и теряют с ним свои связи, тотчас же, по мере того, теряют и веру отеческую, становятся или атеистами, или равнодушными. Верно говорю! Это факт, который оправдается. Вот почему и вы все и мы все теперь – или гнусные атеисты, или равнодушная, развратная дрянь, и ничего больше! И вы тоже, Степан Трофимович, я вас несколько не исключаю, даже на ваш счет и говорил, знайте это!

Обыкновенно, проговорив подобный монолог (а с ним это часто случалось), Шатов схватывал свой картуз и бросался к дверям, в полной уверенности, что уж теперь все кончено и что он совершенно и навеки порвал свои дружеские отношения к Степану Трофимовичу. Но тот всегда успевал остановить его вовремя.

– А не помириться ль нам, Шатов, после всех этих милых словечек? – говаривал он, благодушно протягивая ему с кресел руку.

Неуклюжий, но стыдливый Шатов нежностей не любил. Снаружи человек был грубый, но про себя, кажется, деликатнейший. Хоть и терял часто меру, но первый страдал от того сам. Проворчав что-нибудь под нос на призывные слова Степана Трофимовича и потоптавшись, как медведь, на месте, он вдруг неожиданно ухмылялся, откладывал свой картуз и садился на прежний стул, упорно смотря в землю. Разумеется, приносилось вино, и Степан Трофимович провозглашал какой-нибудь подходящий тост, например хоть в память которого-нибудь из прошедших деятелей.

## Глава вторая

### Принц Гарри. Сватовство

#### I

На земле существовало еще одно лицо, к которому Варвара Петровна была привязана не менее как к Степану Трофимовичу, – единственный сын ее, Николай Всеволодович Ставрогин. Для него-то и приглашен был Степан Трофимович в воспитатели. Мальчику было тогда лет восемь, а легкомысленный генерал Ставрогин, отец его, жил в то время уже в разлуке с его мамашей, так что ребенок возрос под одним только ее попечением. Надо отдать справедливость Степану Трофимовичу, он умел привязать к себе своего воспитанника. Весь секрет его заключался в том, что он и сам был ребенок. Меня тогда еще не было, а в истинном друге он постоянно нуждался. Он не задумался сделать своим другом такое маленькое существо, едва лишь оно капельку подросло. Как-то так естественно сошлось, что между ними не оказалось ни малейшего расстояния. Он не раз пробуждал своего десяти- или одиннадцатилетнего друга ночью, единственно чтоб излить пред ним в слезах свои оскорбленные чувства или открыть ему какой-нибудь домашний секрет, не замечая, что это совсем уже непозволительно. Они бросались друг другу в объятия и плакали. Мальчик знал про свою мать, что она его очень любит, но вряд ли очень любил ее сам. Она мало с ним говорила, редко в чем его очень стесняла, но пристально следящий за ним ее взгляд он всегда как-то болезненно ощущал на себе. Впрочем, во всем деле обучения и нравственного развития мать вполне доверяла Степану Трофимовичу. Тогда еще она вполне в него веровала. Надо думать, что педагог несколько расстроил нервы своего воспитанника. Когда его, по шестнадцатому году, повезли в лицей, то он был тщедушен и бледен, странно тих и задумчив. (Впоследствии он отличался необычайною физическою силой.) Надо полагать тоже, что друзья плакали, бросаясь ночью взаимно в объятия, не все об одних каких-нибудь домашних анекдотах. Степан Трофимович сумел дотронуться в сердце своего друга до глубочайших струн и вызвать в нем первое, еще неопределенное ощущение той вековечной, священной тоски, которую иная избранная душа, раз вкусив и познав, уже не променяет потом никогда на дешевое удовлетворение. (Есть и такие любители, которые тоской этой дорожат более самого радикального удовлетворения, если б даже таковое и было возможно.) Но во всяком случае хорошо было, что птенца и наставника, хоть и поздно, а развели в разные стороны.

Из лицея молодой человек в первые два года приезжал на вакацию. Во время поездки в Петербург Варвары Петровны и Степана Трофимовича он присутствовал иногда на литературных вечерах, бывавших у мамыши, слушал и наблюдал. Говорил мало и все по-прежнему был тих и застенчив. К Степану Трофимовичу относился с прежним нежным вниманием, но уже как-то сдержаннее: о высоких предметах и о воспоминаниях прошлого видимо удалялся с ним заговаривать. Кончив курс, он, по желанию мамыши, поступил в военную службу и вскоре был зачислен в один из самых видных гвардейских кавалерийских полков. Показать мамаше в мундире он не приехал и редко стал писать из Петербурга. Денег Варвара Петровна посылала ему не жалея, несмотря на то что после реформы доход с ее имений упал до того, что в первое время она и половины прежнего дохода не получала. У ней, впрочем, накоплен был долгою экономией некоторый, не совсем маленький капитал. Ее очень интересовали успехи сына в высшем петербургском обществе. Что не удалось ей, то удалось молодому офицеру, богатому и с надеждами. Он возобновил такие знакомства, о которых она и мечтать уже не могла, и везде был принят с большим удовольствием. Но очень скоро начали доходить к Варваре Петровне

довольно странные слухи: молодой человек как-то безумно и вдруг закутил. Не то чтоб он играл или очень пил; рассказывали только о какой-то дикой разнузданности, о задавленных рысачами людях, о зверском поступке с одною дамой хорошего общества, с которою он был в связи, а потом оскорбил ее публично. Что-то даже слишком уж откровенно грязное было в этом деле. Прибавляли сверх того, что он какой-то бретер, привязывается и оскорбляет из удовольствия оскорбить. Варвара Петровна волновалась и тосковала. Степан Трофимович уверял ее, что это только первые, буйные порывы слишком богатой организации, что море уляжется и что все это похоже на юность принца Гарри, кутившего с Фальстафом, Пойнсом и мистрис Квикли, описанную у Шекспира. Варвара Петровна на этот раз не крикнула: «Вздор, вздор!», как повадилась в последнее время покрикивать очень часто на Степана Трофимовича, а, напротив, очень прислушалась, велела растолковать себе подробнее, сама взяла Шекспира и с чрезвычайным вниманием прочла бессмертную хронику. Но хроника ее не успокоила, да и сходства она не так много нашла. Она лихорадочно ждала ответов на несколько своих писем. Ответы не замедлили; скоро было получено роковое известие, что принц Гарри имел почти разом две дуэли, кругом был виноват в обеих, убил одного из своих противников наповал, а другого искалечил и вследствие таковых деяний был отдан под суд. Дело кончилось разжалованием в солдаты, с лишением прав и ссылкой на службу в один из пехотных армейских полков, да и то еще по особенной милости.

В шестьдесят третьем году ему как-то удалось отличиться; ему дали крестик и произвели в унтер-офицеры, а затем как-то уж скоро и в офицеры. Во все это время Варвара Петровна отправила, может быть, до сотни писем в столицу с просьбами и мольбами. Она позволила себе несколько унизиться в таком необычайном случае. После производства молодой человек вдруг вышел в отставку, в Скворешники опять не приехал, а к матери совсем уже перестал писать. Узнали наконец, посторонними путями, что он опять в Петербурге, но что в прежнем обществе его уже не встречали вовсе; он куда-то как бы спрятался. Доискались, что он живет в какой-то странной компании, связался с каким-то отребьем петербургского населения, с какими-то бессапожными чиновниками, отставными военными, благородно просящими милостыню, пьяницами, посещает их грязные семейства, дни и ночи проводит в темных трущобах и Бог знает в каких закоулках, опустился, оборвался и что, стало быть, это ему нравится. Денег у матери он не просил; у него было свое именье – бывшая деревенька генерала Ставрогина, которое хоть что-нибудь да давало же доходу и которое, по слухам, он сдал в аренду одному саксонскому немцу. Наконец мать умолила его к ней приехать, и принц Гарри появился в нашем городе. Тут-то я в первый раз и разглядел его, а дотоле никогда не видывал.

Это был очень красивый молодой человек, лет двадцати пяти, и, признаюсь, поразил меня. Я ждал встретить какого-нибудь грязного оборванца, испитого от разврата и отдающего водкой. Напротив, это был самый изящный джентльмен из всех, которых мне когда-либо приходилось видеть, чрезвычайно хорошо одетый, державший себя так, как мог держать себя только господин, привыкший к самому утонченному благообразию. Не я один был удивлен: удивлялся и весь город, которому, конечно, была уже известна вся биография господина Ставрогина, и даже с такими подробностями, что невозможно было представить, откуда они могли получиться, и, что всего удивительнее, из которых половина оказалась верною. Все наши дамы были без ума от нового гостя. Они резко разделились на две стороны – в одной обожали его, а в другой ненавидели до кровомщения; но без ума были и те и другие. Одних особенно прельщало, что на душе его есть, может быть, какая-нибудь роковая тайна; другим положительно нравилось, что он убийца. Оказалось тоже, что он был весьма порядочно образован; даже с некоторыми познаниями. Познаний, конечно, не много требовалось, чтобы нас удивить; но он мог судить и о насущных, весьма интересных темах, и, что всего драгоценнее, с замечательно рассудительностью. Упомяну как странность: все у нас, чуть не с первого дня, нашли его чрезвычайно рассудительным человеком. Он был не очень разговорчив, изящен без изысканности,

удивительно скромнен и в то же время смел и самоуверен, как у нас никто. Наши франты смотрели на него с завистью и совершенно пред ним стушевывались. Поразило меня тоже его лицо: волосы его были что-то уж очень черны, светлые глаза его что-то уж очень спокойны и ясны, цвет лица что-то уж очень нежен и бел, румянец что-то уж слишком ярк и чист, зубы как жемчужины, губы как коралловые, – казалось бы, писанный красавец, а в то же время как будто и отвратителен. Говорили, что лицо его напоминает маску; впрочем, многие говорили, между прочим, и о чрезвычайной телесной его силе. Росту он был почти высокого. Варвара Петровна смотрела на него с гордостью, но постоянно с беспокойством. Он прожил у нас с полгода – вяло, тихо, довольно угрюмо; являлся в обществе и с неуклонным вниманием исполнял весь наш губернский этикет. Губернатору, по отцу, он был сродни и в доме его принят как близкий родственник. Но прошло несколько месяцев, и вдруг зверь показал свои когти.

Кстати замечу в скобках, что милый, мягкий наш Иван Осипович, бывший наш губернатор, был несколько похож на бабу, но хорошей фамилии и со связями, – чем и объясняется то, что он просидел у нас столько лет, постоянно отмахиваясь руками от всякого дела. По хлебосольству его и гостеприимству ему бы следовало быть предводителем дворянства старого доброго времени, а не губернатором в такое хлопотливое время, как наше. В городе постоянно говорили, что управляет губернией не он, а Варвара Петровна. Конечно, это было едко сказано, но, однако же, – решительная ложь. Да и мало ли было на этот счет потрачено у нас остроумия. Напротив, Варвара Петровна, в последние годы, особенно и сознательно устранила себя от всякого высшего назначения, несмотря на чрезвычайное уважение к ней всего общества, и добровольно заключилась в строгие пределы, ею самой себе поставленные. Вместо высших назначений она вдруг начала заниматься хозяйством и в два-три года подняла доходность своего имения чуть не на прежнюю степень. Вместо прежних поэтических порывов (поездки в Петербург, намерения издавать журнал и пр.) она стала копить и скупиться. Даже Степана Трофимовича отдала от себя, позволив ему нанять квартиру в другом доме (о чем тот давно уже приставал к ней сам под разными предложениями). Мало-помалу Степан Трофимович стал называть ее прозаической женщиной или еще шутливее: «своим прозаическим другом». Разумеется, эти шутки он позволял себе не иначе как в чрезвычайно почтительном виде и долго выбирая удобную минуту.

Все мы, близкие, понимали, – а Степан Трофимович чувствительнее всех нас, – что сын явился пред нею теперь как бы в виде новой надежды и даже в виде какой-то новой мечты. Страсть ее к сыну началась со времени удач его в петербургском обществе и особенно усилилась с той минуты, когда получено было известие о разжаловании его в солдаты. А между тем она очевидно боялась его и казалась пред ним словно рабой. Заметно было, что она боялась чего-то неопределенного, таинственного, чего и сама не могла бы высказать, и много раз неприметно и пристально приглядывалась к Nicolas, что-то соображая и разгадывая... и вот – зверь вдруг выпустил свои когти.

## II

Наш принц вдруг, ни с того ни с сего, сделал две-три невозможные дерзости разным лицам, то есть главное именно в том состояло, что дерзости эти совсем неслыханные, совершенно ни на что не похожие, совсем не такие, какие в обыкновенном употреблении, совсем дрянные и мальчишнические, и черт знает для чего, совершенно без всякого повода. Один из почтеннейших старшин нашего клуба, Павел Павлович Гаганов, человек пожилой и даже заслуженный, взял невинную привычку ко всякому слову с азартом приговаривать: «Нет-с, меня не проведут за нос!» Оно и пусть бы. Но однажды в клубе, когда он, по какому-то горячему поводу, проговорил этот афоризм собравшейся около него кучке клубных посетителей (и все людей не последних), Николай Всеволодович, стоявший в стороне один и к которому

никто и не обращался, вдруг подошел к Павлу Павловичу, неожиданно, но крепко ухватил его за нос двумя пальцами и успел протянуть за собою по зале два-три шага. Злобы он не мог иметь никакой на господина Гаганова. Можно было подумать, что это чистое школьничество, разумеется непростительнейшее; и, однако же, рассказывали потом, что он в самое мгновение операции был почти задумчив, «точно как бы с ума сошел»; но это уже долго спустя припомнили и сообразили. Сгоряча все сначала запомнили только второе мгновение, когда он уже наверно все понимал в настоящем виде и не только не смутился, но, напротив, улыбался злобно и весело, «без малейшего раскаяния». Шум поднялся ужаснейший; его окружили. Николай Всеволодович повертывался и посматривал кругом, не отвечая никому и с любопытством приглядываясь к восклицавшим лицам. Наконец, вдруг как будто задумался опять, – так по крайней мере передавали, – нахмурился, твердо подошел к оскорбленному Павлу Павловичу и скороговоркой, с видимою досадой, пробормотал:

– Вы, конечно, извините... Я, право, не знаю, как мне вдруг захотелось... глупость...

Небрежность извинения равнялась новому оскорблению. Крик поднялся еще пуше. Николай Всеволодович пожал плечами и вышел.

Все это было очень глупо, не говоря уже о безобразии – безобразии рассчитанном и умышленном, как казалось с первого взгляда, а стало быть, составлявшем умышленное, до последней степени наглое оскорбление всему нашему обществу. Так и было это всеми понято. Начали с того, что немедленно и единодушно исключили господина Ставрогина из числа членов клуба; затем порешили от лица всего клуба обратиться к губернатору и просить его немедленно (не дожидаясь, пока дело начнется формально судом) обуздать вредного буяна, столичного «бретера, вверенную ему административную власть, и тем оградить спокойствие всего порядочного круга нашего города от вредных посягновений». С злобною невинностию прибавляли при этом, что, «может быть, и на господина Ставрогина найдется какой-нибудь закон». Именно эту фразу приготавливали губернатору, чтоб уколоть его за Варвару Петровну. Размазывали с наслаждением. Губернатора, как нарочно, не случилось тогда в городе; он уехал неподалеку крестить ребенка у одной интересной и недавней вдовы, оставшейся после мужа в интересном положении; но знали, что он скоро воротится. В ожидании же устроили почтенному и обиженному Павлу Павловичу целую овацию: обнимали и целовали его; весь город перебивал у него с визитом. Проектировали даже в честь его по подписке обед, и только по усиленной его же просьбе оставили эту мысль, – может быть, смекнув наконец, что человека все-таки протащили за нос и что, стало быть, очень-то уж торжествовать нечего.

И, однако, как же это случилось? Как могло это случиться? Замечательно именно то обстоятельство, что никто у нас, в целом городе, не приписал этого дикого поступка сумасшествию. Значит, от Николая Всеволодовича, и от умного, наклонны были ожидать таких же поступков. С своей стороны, я даже до сих пор не знаю, как объяснить, несмотря даже на вскоре последовавшее событие, казалось бы все объяснившее и всех, по-видимому, умиротворившее. Прибавлю тоже, что четыре года спустя Николай Всеволодович на мой осторожный вопрос насчет этого прошедшего случая в клубе ответил нахмурившись: «Да, я был тогда не совсем здоров». Но забегать вперед нечего.

Любопытен был для меня и тот взрыв всеобщей ненависти, с которою все у нас накинудись тогда на «буяна и столичного бретера». Непременно хотели видеть наглый умысел и рассчитанное намерение разом оскорбить все общество. Подлинно не угодил человек никому и, напротив, всех вооружил, – а чем бы, кажется? До последнего случая он ни разу ни с кем не поссорился и никого не оскорбил, а уж вежлив был так, как кавалер с модной картинки, если бы только тот мог заговорить. Полагаю, что за гордость его ненавидели. Даже наши дамы, начавшие обожанием, вопили теперь против него еще пуше мужчин.

Варвара Петровна была ужасно поражена. Она призналась потом Степану Трофимовичу, что все это она давно предугадывала, все эти полгода каждый день, и даже именно в «этом

самом роде» – признание замечательное со стороны родной матери. «Началось!» – подумала она содрогаясь. На другое утро после рокового вечера в клубе она приступила, осторожно, но решительно, к объяснению с сыном, а между тем вся так и трепетала, бедная, несмотря на решимость. Она всю ночь не спала и даже ходила рано утром совещаться к Степану Трофимовичу и у него заплакала, чего никогда еще с нею при людях не случилось. Ей хотелось, чтобы Nicolas по крайней мере хоть что-нибудь ей сказал, хоть объясниться бы удостоил. Nicolas, всегда столь вежливый и почтительный с матерью, слушал ее некоторое время насупившись, но очень серьезно; вдруг встал, не ответив ни слова, поцеловал у ней ручку и вышел. А в тот же день, вечером, как нарочно, подоспел и другой скандал, хотя и гораздо послабее и пообыкновеннее первого, но тем не менее, благодаря всеобщему настроению, весьма усиливший городские вопли.

Именно подвернулся наш приятель Липутин. Он явился к Николаю Всеволодовичу тотчас после объяснения того с мамашей и убедительно просил его сделать честь пожаловать к нему в тот же день на вечеринку по поводу дня рождения его жены. Варвара Петровна уже давно с содроганием смотрела на такое низкое направление знакомств Николая Всеволодовича, но заметить ему ничего не смела на этот счет. Он уже и кроме того завел несколько знакомств в этом третьестепенном слое нашего общества и даже еще ниже, – но уж такую имел склонность. У Липутина же в доме до сих пор еще не был, хотя с ним самим и встречался. Он угадал, что Липутин зовет его теперь вследствие вчерашнего скандала в клубе и что он, как местный либерал, от этого скандала в восторге, искренно думает, что так и надо поступать с клубными старшинами и что это очень хорошо. Николай Всеволодович рассмеялся и обещал приехать.

Гостей набралось множество; народ был неказистый, но разбитной. Самолюбивый и завистливый Липутин всего только два раза в год созывал гостей, но уж в эти разы не скупился. Самый почетнейший гость, Степан Трофимович, по болезни не приехал. Подавали чай, стояла обильная закуска и водка; играли на трех столах, а молодежь в ожидании ужина затеяла под фортепиано танцы. Николай Всеволодович поднял мадам Липутину – чрезвычайно хорошенькую дамочку, ужасно пред ним робевшую, – сделал с нею два тура, уселся подле, разговорил, рассмешил ее. Заметив наконец, какая она хорошенькая, когда смеется, он вдруг, при всех гостях, обхватил ее за талию и поцеловал в губы, раза три сряду, в полную сласть. Испуганная бедная женщина упала в обморок. Николай Всеволодович взял шляпу, подошел к оторопевшему среди всеобщего смятения супругу, глядя на него сконфузился и сам и, пробормотав ему наскоро: «Не сердитесь», вышел. Липутин побежал за ним в переднюю, собственноручно подал ему шубу и с поклонами проводил с лестницы. Но завтра же как раз подоспело довольно забавное прибавление к этой, в сущности невинной, истории, говоря сравнительно, – прибавление, доставившее с тех пор Липутину некоторый даже почет, которым он и сумел воспользоваться в полную свою выгоду.

Часов в десять утра в доме госпожи Ставрогиной явилась работница Липутина, Агафья, развязная, бойкая и румяная бабенка, лет тридцати, посланная им с поручением к Николаю Всеволодовичу и непременно желавшая «повидать их самих-с». У него очень болела голова, но он вышел. Варваре Петровне удалось присутствовать при передаче поручения.

– Сергей Васильич (то есть Липутин), – бойко затараторила Агафья, – перво-наперво приказали вам очень кланяться и о здоровье спросить-с, как после вчерашнего изволили почивать и как изволите теперь себя чувствовать, после вчерашнего-с?

Николай Всеволодович усмехнулся.

– Кланяйся и благодари, да скажи ты своему барину от меня, Агафья, что он самый умный человек во всем городе.

– А они против этого приказали вам отвечать-с, – еще бойчее подхватила Агафья, – что они и без вас про то знают и вам того же желают.

– Вот! да как он мог узнать про то, что я тебе скажу?

– Уж не знаю, каким это манером узнали-с, а когда я вышла и уж весь проулок прошла, слышу, они меня догоняют без картуза-с: «Ты, говорят, Агафьюшка, если, по отчаянии, прикажут тебе: "Скажи, дескать, своему барину, что он умней во всем городе", так ты им тотчас на то не забудь: "Сами оченно хорошо про то знаем-с и вам того же самого желаем-с..."»

### III

Наконец произошло объяснение и с губернатором. Милый, мягкий наш Иван Осипович только что воротился и только что успел выслушать горячую клубную жалобу. Без сомнения, надо было что-нибудь сделать, но он смутился. Гостеприимный наш старичок тоже как будто побаивался своего молодого родственника. Он решился, однако, склонить его извиниться пред клубом и пред обиженным, но в удовлетворительном виде, и если потребуется, то и письменно; а затем мягко уговорить его нас оставить, уехав, например, для любознательности в Италию и вообще куда-нибудь за границу. В зале, куда вышел он принять на этот раз Николая Всеволодовича (в другие разы прогуливавшегося, на правах родственника, по всему дому невозбранно), воспитанный Алеша Телятников, чиновник, а вместе с тем и домашний у губернатора человек, распечатывал в углу у стола пакеты; а в следующей комнате, у ближайшего к дверям залы окна, поместился один заезжий, толстый и здоровый полковник, друг и бывший сослуживец Ивана Осиповича, и читал «Голос», разумеется не обращая никакого внимания на то, что происходило в зале; даже и сидел спиной. Иван Осипович заговорил отдаленно, почти шепотом, но все несколько путался. Nicolas смотрел очень нелюбезно, совсем не по-родственному, был бледен, сидел потупившись и слушал сдвинув брови, как будто преодолевая сильную боль.

– Сердце у вас доброе, Nicolas, и благородное, – включил, между прочим, старичок, – человек вы образованнейший, вращались в кругу высшем, да и здесь доселе держали себя образцом и тем успокоили сердце дорогой нам всем матушки вашей... И вот теперь все опять является в таком загадочном и опасном для всех колорите! Говорю как друг вашего дома, как искренно любящий вас пожилой и вам родной человек, от которого нельзя обижаться... Скажите, что побуждает вас к таким необузданным поступкам, вне всяких принятых условий и мер? Что могут означать такие выходки, подобно как в бреде?

Nicolas слушал с досадой и с нетерпением. Вдруг как бы что-то хитрое и насмешливое промелькнуло в его взгляде.

– Я вам, пожалуй, скажу, что побуждает, – угрюмо проговорил он и, оглядевшись, наклонился к уху Ивана Осиповича. Воспитанный Алеша Телятников отдалился еще шага на три к окну, а полковник кашлянул за «Голосом». Бедный Иван Осипович поспешно и доверчиво протянул свое ухо; он до крайности был любопытен. И вот тут-то и произошло нечто совершенно невозможное, а с другой стороны, и слишком ясное в одном отношении. Старичок вдруг почувствовал, что Nicolas, вместо того чтобы прошептать ему какой-нибудь интересный секрет, вдруг прихватил зубами и довольно крепко стиснул в них верхнюю часть его уха. Он задрожал, и дух его прервался.

– Nicolas, что за шутки! – простонал он машинально, не своим голосом.

Алеша и полковник еще не успели ничего понять, да им и не видно было и до конца казалось, что те шепчутся; а между тем отчаянное лицо старика их тревожило. Они смотрели выпуча глаза друг на друга, не зная, броситься ли им на помощь, как было условлено, или еще подождать. Nicolas заметил, может быть, это и притиснул ухо побольнее.

– Nicolas, Nicolas! – простонала опять жертва, – ну... пошутил и довольно...

Еще мгновение, и, конечно, бедный умер бы от испуга; но изверг помиловал и выпустил ухо. Весь этот смертный страх продолжался с полную минуту, и со стариком после того приключился какой-то припадок. Но через полчаса Nicolas был арестован и отведен, покамест,

на гауптвахту, где и заперт в особую каморку, с особым часовым у дверей. Решение было резкое, но наш мягкий начальник до того рассердился, что решился взять на себя ответственность даже пред самой Варварой Петровной. Ко всеобщему изумлению, этой даме, поспешно и в раздражении прибывшей к губернатору для немедленных объяснений, было отказано у крыльца в приеме; с тем она и отправилась, не выходя из кареты, обратно домой, не веря самой себе.

И наконец-то все объяснилось! В два часа пополудни арестант, дотоле удивительно спокойный и даже заснувший, вдруг зашумел, стал неистово бить кулаками в дверь, с неестественною силой оторвал от оконца в дверях железную решетку, разбил стекло и изрезал себе руки. Когда караульный офицер прибежал с командой и ключами и велел отпереть каземат, чтобы броситься на взбесившегося и связать его, то оказалось, что тот был в сильнейшей белой горячке; его перевезли домой к мамаше. Все разом объяснилось. Все три наши доктора дали мнение, что и за три дня пред сим больной мог уже быть как в бреде и хотя и владел, по-видимому, сознанием и хитростию, но уже не здравым рассудком и волей, что, впрочем, подтверждалось и фактами. Выходило таким образом, что Липутин раньше всех догадался. Иван Осипович, человек деликатный и чувствительный, очень сконфузился; но любопытно, что и он считал, стало быть, Николая Всеволодовича способным на всякий сумасшедший поступок в полном рассудке. В клубе тоже устыдились и недоумевали, как это они все слона не приметили и упустили единственное возможное объяснение всем чудесам. Явились, разумеется, и скептики, но продержались не долго.

Nicolas пролежал с лишком два месяца. Из Москвы был выписан известный врач для консилиума; весь город посетил Варвару Петровну. Она простила. Когда, к весне, Nicolas совсем уже выздоровел и, без всякого возражения, согласился на предложение мамашы съездить в Италию, то она же и упросила его сделать всем у нас прощальные визиты и при этом, сколько возможно и где надо, извиниться. Nicolas согласился с большою охотой. В клубе известно было, что он имел с Павлом Павловичем Гагановым деликатнейшее объяснение у того в доме, которым тот остался совершенно доволен. Разъезжая по визитам, Nicolas был очень серьезен и несколько даже мрачен. Все приняли его, по-видимому, с полным участием, но все почему-то конфузились и рады были тому, что он уезжает в Италию. Иван Осипович даже прослезился, но почему-то не решился обнять его даже и при последнем прощании. Право, некоторые у нас так и остались в уверенности, что негодяй просто насмеялся над всеми, а болезнь – это что-нибудь так. Заехал он и к Липутину.

– Скажите, – спросил он его, – каким образом вы могли заране угадать то, что я скажу о вашем уме, и снабдить Агафью ответом?

– А таким образом, – засмеялся Липутин, – что ведь и я вас за умного человека почитаю, а потому и ответ ваш заране мог предугадать.

– Все-таки замечательное совпадение. Но, однако, позвольте: вы, стало быть, за умного же человека меня почитали, когда присылали Агафью, а не за сумасшедшего?

– За умнейшего и за рассудительнейшего, а только вид такой подал, будто верю про то, что вы не в рассудке... Да и сами вы о моих мыслях немедленно тогда догадались и мне, чрез Агафью, патент на остроумие выслали.

– Ну, тут вы немного ошибаетесь; я в самом деле... был нездоров... – пробормотал Николай Всеволодович нахмурившись. – Ба! – вскричал он, – да неужели вы и в самом деле думаете, что я способен бросаться на людей в полном рассудке? Да для чего же бы это?

Липутин скрючился и не сумел ответить. Nicolas несколько побледнел или так только показалось Липутину.

– Во всяком случае, у вас очень забавное настроение мыслей, – продолжал Nicolas, – а про Агафью я, разумеется, понимаю, что вы ее обругать меня присылали.

– Не на дуэль же было вас вызывать-с?

– Ах да, бишь! Я ведь слышал что-то, что вы дуэли не любите...

– Что с французского-то переводить! – опять скрючился Липутин.

– Народности придерживаетесь?

Липутин еще более скрючился.

– Ба, ба! что я вижу! – вскричал Nicolas, вдруг заметив на самом видном месте, на столе, том Консидерана. – Да уж не фурьерист ли вы? Ведь чего доброго! Так разве это не тот же перевод с французского? – засмеялся он, стуча пальцами в книгу.

– Нет, это не с французского перевод! – с какою-то даже злобой привскочил Липутин, – это со всемирно-человеческого языка будет перевод-с, а не с одного только французского! С языка всемирно-человеческой социальной республики и гармонии, вот что-с! А не с французского одного!..

– Фу, черт, да такого и языка совсем нет! – продолжал смеяться Nicolas.

Иногда даже мелочь поражает исключительно и надолго внимание. О господине Ставрогине вся главная речь впереди; но теперь отмечу, ради курьеза, что из всех впечатлений его, за все время, проведенное им в нашем городе, всего резче отпечатались в его памяти невзрачная и чуть не подленькая фигурка губернского чиновничка, ревнивца и семейного грубого деспота, скряги и процентщика, запиравшего остатки от обеда и огарки на ключ, и в то же время яростного сектатора Бог знает какой будущей «социальной гармонии», упивавшегося по ночам восторгами пред фантастическими картинами будущей фаланстеры, в ближайшее осуществление которой в России и в нашей губернии он верил как в свое собственное существование. И это там, где сам же он скопил себе «домишко», где во второй раз женился и взял за женой деньжонки, где, может быть, на сто верст кругом не было ни одного человека, начиная с него первого, хоть бы с виду только похожего на будущего члена «всемирно-общечеловеческой социальной республики и гармонии».

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

## Комментарии

1.

Достоевский Ф. М. Собр. соч.: В 15 т. Т. 15. – СПб.: Наука, 1996.

2.

Сараскина Л. И. «Бесы»: роман-предупреждение. – М.: Сов. писатель, 1990.

3.

Авсеенко В. Г. Общественная психология в романе. «Бесы», роман Федора Достоевского. В трех частях. С. – Петербург, 1873 // Русский вестник, 1873. № 8. С. 798–833.

4.

Ткачев П. Н. Избранные сочинения. Т. 3. 1873–1879. – М., 1932. С. 5–48.

5.

Салтыков-Щедрин М. Е. Светлов, его взгляды, характер и деятельность // Отечественные записки. 1871. № 4.

6.

Русские писатели. Биобиблиографический словарь. В 2 т. Т. 2. – М.: Просвещение, 1990. С. 246.

7.

Горький М. О «карамазовщине» // Собр. соч.: В 30 т. Т. 24: Статьи, речи, приветствия. 1907–1928. – М.: ГИХЛ, 1953. С. 146–150.

8.

Бердяев Н. А. Духи русской революции // Сборник статей о русской революции. – М.; Пг., 1918.

9.

Альтман М. С. Достоевский: по вехам имен. – Саратов: Изд-во Саратовского университета, 1975.

10.

Гроссман Л. П. Достоевский. – СПб.: Астрель, 2012.

11.

Мочульский К. Достоевский. Жизнь и творчество. – Париж: YMCA-Press, 1980.

12.

Бердяев Н. А. Ставрогин // Русская мысль. 1914. Кн. V. С. 80–89.

13.

Там же.

14.

Мочульский К. Указ. соч.

**15.**

Иванов Вяч. И. Экскурс: основной миф в романе «Бесы» // Иванов Вяч. И. Собр. соч. Т. 4. – Брюссель, 1987. С. 437–444.

**16.**

Достоевский Ф. М. Ответ «Русскому вестнику» // Достоевский Ф. М. Собр. соч.: В 15 т. Т. 11. С. 177–202.

**17.**

Н. Н. Страхов – Л. Н. Толстому 28 ноября 1883 г. Санкт-Петербург // Современный мир. 1913. № 10.

**18.**

Долинин А. С. Страницы из «Бесов» (в канонический текст не включенные) // Достоевский Ф. М. Исследования и материалы. Сборник второй. – Л.: Мысль, 1925. С. 546.

**19.**

Камю А. Миф о Сизифе. Эссе об абсурде / Камю А. Бунтующий человек. Философия. Политика. Искусство. – М.: Политиздат, 1990. С. 24–100.

**20.**

Долинин А. С. Достоевский и другие. – Л.: Худ. лит., 1989.

**21.**

Ходасевич В. Ф. Поэзия Игната Лебядкина. // Ходасевич В. Колеблемый треножник: Избранное. – М.: Сов. писатель, 1991. С. 244–249.

**22.**

Серман И. З. Стихи капитана Лебядкина и поэзия XX века. – *Revue des études slaves*. Année 1981. Volume 53. Numéro 4. P. 603.

**23.**

Долинин А. С. Указ. соч.